РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ИНСТИТУТ НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
ПО ОБЩЕСТВЕННЫМ НАУКАМ

Б.П. ГИНЗБУРГ

ЗАПИСКИ ОБРЕЧЕННОГО ФИЛОСОФА

МОСКВА
2022

ББК 73; 78.5; 91.9; 87
Г 49

Фундаментальная библиотека

Отдел научно-библиографической информации

Составители: *А.К. Воскресенский*, *А.В. Борисов*

Редактор: А.В. Борисов

Ответственный редактор: *А.В. Гасилин*

Г 49 **Гинзбург Б.П.**
Записки обреченного философа / РАН. ИНИОН. Фундамент. б-ка. Отдел научно-библиогр. информации ; сост. А.К. Воскресенский, А.В. Борисов ; ред. А.В. Борисов; отв. ред. А.В. Гасилин. – Москва, 2022. – 142 с.

ISBN 978-5-248-01038-7

Сборник работ философа и логика Б.П. Гинзбурга (1939–2012) включает эссе по логике естественного языка, дневниковые записки и афоризмы о человеке, в которых нашли выражение духовные поиски автора.

Сборник дополняют воспоминания близких и коллег философа. Большая часть материалов публикуется впервые. Издание приурочено к 10-летию со дня смерти автора.

Книга адресована как специалистам, так и всем, интересующимся философией, логикой и историей философии, а также библиографам и сотрудникам библиотек и информационных центров.

ББК 73; 78.5; 91.9; 87

ISBN 978-5-248-01038-7

© ФГБУН «Институт научной информации по общественным наукам РАН», 2022

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие 5

Часть I. Философские эссе 8
«Да» и «Нет» 8
Записки обреченного философа 22
Инопланетяне о землянах 96

Часть II. Воспоминания 104
Евгения Немировская. Вспоминая папу 104
Елена Гинзбург. Воспоминания младшей дочери 107
Татьяна Уманская. «Возможно, истинный праведник и живет так, как жил Борис Петрович» 108
Анатолий Яковлев. Борис Петрович Гинзбург 109
Георгий Хлебников. Мои воспоминания о Борисе Петровиче Гинзбурге 112
Александр Борисов. Инопланетянин на галерах: Б.П. Гинзбург в рабочем интерьере и духовном поиске 115

Краткая биографическая справка 138
Библиография 140

ПРЕДИСЛОВИЕ

Эта книга, собрание неизданных философских работ Бориса Петровича Гинзбурга (1939–2012), старейшего сотрудника ИНИОН РАН, выходит спустя десять лет после его смерти. Идейным вдохновителем и составителем сборника стал другой старожил ИНИОНа – Анатолий Кириллович Воскресенский (1944–2021), увы, тоже не доживший до окончательной реализации этого проекта. Таким образом, книга превратилась как бы в двойное посвящение старейшим философам-библиографам ИНИОНа, долгие годы работавшим вместе в группе философии отдела научно-библиографической информации (ОНБИ).

Оба они, и Борис Петрович, и Анатолий Кириллович, были яркими представителями первого поколения инионовцев, стоявшего у истоков амбициозного даже по советским меркам проекта Фундаментальной библиотеки ИНИОН. Наряду с такими известными философами, как А.И. Ракитов, Б.Г. Юдин, М.К. Рыклин и др., Анатолий Воскресенский и Борис Гинзбург внесли весомую лепту в становление и развитие ИНИОНа, и на протяжении всего пути не переставали поддерживать связь с крупнейшими представителями своей дисциплины – Д.И. Дубровским, Д.В. Джохадзе, В.А. Лекторским.

Будучи профессионалами высочайшего класса, хорошо ориентировавшимися в самых разных отраслях философской науки, Борис Петрович и Анатолий Кириллович сформировали редкий тандем: блестящие организаторские способности Воскресенского сочетались с безупречной логикой и энциклопедическими познаниями Гинзбурга, что делало группу философии одной из самых плодотворных групп ОНБИ, а их самих – одними из самых заметных сотрудников отдела. Среди многочисленных проектов, реализованных их силами, стоит особенно отметить многоуровневый отраслевой рубрикатор и словник нормализованной лексики по

философии, включающий в себя все сколь-нибудь значимые разделы философского знания. Строгая иерархическая структура рубрикатора и словника, в полной мере отражающая состояние позднесоветской философской науки, была разработана Борисом Гинзбургом на основе анализа огромного массива философских публикаций советских лет. И хотя в наше время некоторые разделы рубрикатора утратили свою актуальность – значительно снизилось влияние истмата и диамата, устарели многие марксистские понятия и подходы, изменился сам язык философской науки, обретя вкус к многообразию подходов и стилей мышления, – но строгая логическая структура, лежащая в его основе, до сих пор не утратила актуальности, подобно фундаментальным законам классической логики, которые не зависят от культурно-исторических перипетий и не подвержены влиянию переменчивой интеллектуальной моды.

Будучи профессиональным библиографом и настоящим знатоком философской классики, способным по памяти цитировать философов древности, Борис Петрович и сам не был чужд жанру философской эссеистики. Если по образованию и профессиональным интересам Гинзбург был скорее логиком, то в своих философских штудиях он выступает представителем экзистенциальной традиции, претерпевшим значительное влияние восточной философии, в особенности дзен-буддизма. Живой, почти разговорный стиль этих эссе, сочетающий философскую глубину с художественной образностью, вдумчивую рефлексию с обильным цитированием, – хоть и далек от академических стандартов, но отражает яркую, не чуждую парадоксальности индивидуальность автора, чем выгодно отличается от множества вполне профессиональных, но совершенно безликих текстов.

Основная цель настоящего издания – дать самое общее представление о философском творчестве и жизни Бориса Петровича Гинзбурга. Сборник состоит из двух частей: в первой представлены философские эссе, написанные Борисом Петровичем в разные годы. Сохраняя единство в общем направлении философствования, предложенные эссе значительно отличаются по стилю представления. Так текст, опубликованный под названием «“Да” и “Нет”», отсылающий к жанру философских дискуссий «Pro et Contra», написан в стиле классических философских трактатов. Философское эссе «Записки обреченного философа» отсылает скорее к текстам экзистенциальной традиции, унаследовав от них отчетливый художественный компонент и общий драматизм философско-

го вопрошания. Небольшая работа «Инопланетяне о землянах» представляет собой собрание авторских сентенций, наподобие «Максим» Ларошфуко. Вторая часть сборника посвящена воспоминаниям родственников, друзей и коллег, позволяющим более детально воссоздать его образ, разбавить сухой перечень биографических данных яркими бытовыми зарисовками, дружескими отзывами и профессиональными характеристиками.

Надеемся, что представленные материалы будут интересны не только тем, кто знал Бориса Гинзбурга лично, но также историкам отечественной науки и исследователям советской и постсоветской интеллектуальной среды.

Кандидат философских наук,
научный сотрудник ИНИОН РАН,
Андрей Гасилин

Часть I.
ФИЛОСОФСКИЕ ЭССЕ

«Да» и «Нет»

Только на рынке нападают с вопросом: да или нет? Так говорил Заратустра. Вызов примитивности мышления. И вместе с тем – его определенности.

Никто уже не ждет окончательного ответа «Да» или «Нет» ни на один из серьезных вопросов, волновавших человеческий разум. Не потому, что решений нет, а потому что их слишком много. Всемогущество разума обернулось бессилием. Способность доказать что угодно – неспособностью что-либо доказать.

Диагноз обычно прост: отрыв философской теории от практики, здравого смысла, логики естественного языка.

И все же – Заратустре нет нужды покидать рынок, чтобы услышать «и да, и нет» или «ни да, ни нет». Обычно слова эти выражают сомнение и нерешительность. Но нередко они звучат так же твердо и уверенно, как и однозначные «да» или «нет».

Что скрывается за обыденным «да и нет»? Как далеко от него «Да и Нет» философов? В качестве прелюдии к этой романтической теме мы предлагаем прозаический анализ простейшей параллели – нечеткости понятий обыденного и философского языка.

Придется вернуть Заратустру на рынок. Представим немыслимое: мудрец влюбился, перестал изображать сверхчеловека и направился на рынок купить розы для возлюбленной. Она предпочитает красные цветы, но единственные розы на рынке не то розовые, не то красные – какого-то промежуточного цвета. Заратустра в замешательстве. Цветочница набрасывается на него с вопросом: да или нет? Мудрец парирует удар ответным вопросом: эти цветы – красные или не красные? Да или нет? Догадавшись, что ему нужно, хитрая торговка отвечает утвердительно. Но другая цветочница и случайные покупатели устраивают целую дискуссию по этому вопросу. Дискуссию, в которой звучат все возможные ответы:

«да», «нет», «и да, и нет», «ни да, ни нет». Как и в самой настоящей философской дискуссии.

Спор выглядит безнадежным при всей банальности ситуации. Наименования оттенков цвета в обыденном языке – выражения нечеткие, границы их применения расплывчаты. Образуется как бы зона неопределенности, границы которой в свою очередь расплывчаты. Присутствует, конечно, и элемент субъективности, индивидуальных различий. Исходные образцы – эталоны, стандарты – на которых каждого из нас в детстве обучали употреблению слова «красный», были, разумеется, сходны, но не абсолютно тождественны по цвету. При дальнейшем стирании различий какие-то индивидуальные расхождения могли сохраниться.

Проблема, однако, остается и на индивидуальном уровне, когда каждый из нас сталкивается с промежуточным оттенком цвета, который выглядит как бы равноудаленным от стандартно красного и стандартно розового. В процессе освоения языка мы прилагаем слово «красный» ко всем похожим на образец оттенкам цвета, но требуемая при этом степень сходства никак не задана. Имеются лишь ограничители: «нет, это не красный, а розовый», «нет, это не красный, а оранжевый» и т.п. Частица «не» в таких случаях исключает понимание розового и оранжевого как разновидностей или оттенков красного.

Как быть при равной степени сходства с образцами розового и красного? Процесс обучения не дает однозначного ответа. Можно, однако, считать, что неявно задается довольно свободная инструкция: разрешается относить к данному цвету все, что похоже на его образец, если нет большего сходства с образцами других цветов. Получается, что промежуточный оттенок можно назвать красным, но с равным правом – розовым, т.е. не красным. А значит – и розовым, и красным, или не розовым и не красным, или красным и не красным… Любой возможный ответ выглядит равно допустимым, и границы этого произвола в свою очередь довольно произвольны: «промежуточная» зона не имеет четких очертаний.

Представим себе альтернативную языковую практику, в которой разрешается относить к данному цвету лишь оттенки, более сходные с образцом этого цвета, чем с образцами других цветов. Между красным и розовым образуется нейтральная полоса: промежуточный оттенок цвета нельзя отнести к красному, но нельзя отнести и к розовому. Однако очертания этой нейтральной полосы в свою очередь расплывчаты, и на ее границах восстанавливается свобода выбора между красным и не красным, розовым и не розо-

вым, хотя и не восстанавливается возможность утверждения «и красный, и розовый». Такая языковая практика, в сущности, равноценна более детальному различению цветов – введению промежуточного цвета между розовым и красным. На обеих границах этого «розово-красного» возникают, однако, те же проблемы, которые раньше были связаны только с одной границей – красного и розового.

Неопределенность, порождаемая нечеткостью понятий, может рассматриваться как элементарная форма *эпистемической свободы*. Свободы разрешения «пограничных» проблем. Сомнения, связанные с этими проблемами, порождаются не отсутствием подходящих решений, а их равноправием. Это не трудности поиска скрытого и неизвестного, а трудности выбора из наличного и хорошо известного. Это не неопределенность неразрешимости, а неопределенность сверхразрешимости, когда высказываниям можно с равным правом приписать истинность, ложность, истинность и ложность, неистинность и неложность; с равным правом их утверждать, отрицать, воздерживаться от утверждения и отрицания.

Неопределенность далеко не всегда означает эпистемическую свободу. В этом отношении особенно примечательны высказывания о несуществующем. Казалось бы, суждения о том, чего нет, могут быть совершенно произвольными, ибо нет фактов, которые могли бы такой произвол ограничить. Однако именно отсутствие этих фактов означает отсутствие того, что делает суждение истинным или ложным. Мы не располагаем эпистемической свободой утверждения или отрицания высказывания «король современной Франции мудр»; логика естественного языка заставляет воздержаться от его утверждения или отрицания. При переводе на язык современной символической логики это высказывание заменяется аналогом: «существует человек, который является королем современной Франции. И этот человек мудр». Его, конечно, можно отрицать. Но это уже не сходное высказывание, подлежащим которого является название несуществующего предмета и утверждение которого так же неприемлемо, как и отрицание. В этом отношении исходное суждение сходно с высказываниями типа «этот звук – красный» (в буквальном их понимании). Здесь предмет высказывания существует, но отсутствует предмет, с которым правила естественного языка позволяли бы соотносить понятие красного. Неопределенность таких высказываний иногда приравнивается к бессмысленности; спорность этого уравнения связана с нечетко-

стью понятия бессмысленности, и здесь мы сталкиваемся с прямым пересечением неопределенностей обыденного и философского языка.

Высказывания о несуществующем могут все же утверждаться или отрицаться в естественном языке. Например, в тех случаях, когда для этого достаточно самого смысла употребляемых слов, т.е. когда высказывание является аналитическим: «все русалки – женщины», «круглый квадрат является круглым». И, разумеется, в тех случаях, когда речь идет о самом существовании или несуществовании предметов: «русалки не существуют», «круглые квадраты не существуют». Последнее утверждение аналитично: сам смысл слов «круглый» и «квадрат» исключает их совместную приложимость. На первый взгляд, аналогична ситуация с «розовым» и «красным». При обучении употреблению этих прилагательных подчеркивают: «это не красное, а розовое», тем самым как бы заведомо исключая совместное приложение слов к одному оттенку цвета. Однако это относится лишь к типичным, стандартным образцам розового и красного. В сомнительных промежуточных случаях дети, подражая взрослым, научаются говорить: «и розовый, и красный», «не розовый и не красный», «и красный, и не красный». И мы не воспринимаем эти фразы как условные неразложимые словосочетания. Именно потому, что промежуточный оттенок цвета в равной степени похож на стандартно красный и стандартно розовый (т.е. не красный), мы имеем равное право отнести (или не отнести) его и к красному, и к розовому, а значит – к красному и не красному.

Понятия «розовый» и «красный», в отличие от понятий «круглый» и «квадратный», являются уподобляющими, а не отождествляющими: для их приложения требуется не тождество оттенков цвета, а всего лишь подобие*; в случае «круга» и «квадрата» геометрическое употребление терминов требует именно тождества, а не подобия формы. При рассуждении об идеальных геометрических фигурах у нас не возникнет соблазна сказать «и квадрат, и не квадрат», это возможно лишь по отношению к реально наблюдаемым квадратам, форма которых не идеальна.

---

* Требование тождества (т.е. неразличимости) оттенков цвета не избавляет от парадоксов: два оттенка, неотличимые от третьего, могут заметно различаться при их сравнении между собой. Здесь не выполняется логический закон транзитивности тождества: «Если A=B и B=C, то A=C».

Классическая логика с ее запретами «да и нет», «ни да, ни нет» чувствует себя уверенно именно в сфере математики и точных наук, где рассматриваются абстрактные объекты или абстрактные модели реальных объектов. Из этой идеальной сферы она вынесла убеждение в непреложной значимости и самоочевидности законов непротиворечия и исключенного третьего. Более того – в их аналитичности, предопределенности самим смыслом логических слов. Этот смысл характеризуется либо истинностными таблицами, которые приписывают каждому высказыванию одно из двух «истинностных значений» – истину или ложь (и тем самым предполагают выполнение указанных законов), либо аксиоматически – постулатами, которые, подобно всем постулатам, могут быть заменены альтернативными постулатами, что и проделывается в современных системах неклассической логики. Эти альтернативные постулаты приводят к многочисленным отклонениям от классических законов, в том числе от закона непротиворечия (паранепротиворечивая логика) и закона исключенного третьего (многозначная, парциальная, интуиционистская логика).

Если говорить не о постулированном, а реальном смысле логических слов в естественном языке, остается апеллировать лишь к интуитивному их пониманию и общепринятой практике словоупотребления. Логические частицы вроде «да», «нет», «и», «или» являются исходными, неопределяемыми выражениями естественного языка. Мы понимаем их, но не в состоянии сформулировать это понимание. Возможны лишь отдельные пояснения: «или» бывает более строгим, когда допускается только одно из двух, и менее строгим, когда не исключаются оба; «да» и «нет» связаны с утверждением и отрицанием, признанием истинности или ложности высказывания. Из таких условных пояснений вовсе не следуют запреты для «да и нет», «ни да, ни нет». Мы можем не утверждать и не отрицать предложенное суждение («ни да, ни нет»), наше согласие с ним может быть частичным, т.е. совместимым с несогласием («и да, и нет»).

«Истина» и «ложь» в естественном языке – выражения также первичные и неопределяемые. Основной их смысл обычно передается фразами: «соответствие действительности», «расхождение с действительностью». Соответствие и расхождение, однако, может быть приблизительным или частичным, т.е. не исключающим «да и нет», «ни да, ни нет». Понятие соответствия так же нечетко, как и понятие красноты; в обоих случаях мы имеем дело с терминами,

употребление которых основано на уподоблении образцу, но степень подобия остается неопределенной.

Высказывания типа «король современной Франции мудр» или «этот звук – красный» иногда называют неопределенными в том смысле, что в естественном языке они не истинны и не ложны. Эту неопределенность можно интерпретировать как третье истинностное значение, или как отсутствие истинностного значения, однако сам факт не истинности и не ложности остается достаточно определенным. В случае же «пограничных» высказываний, например высказываний о промежуточных оттенках цвета, мы не имеем и этой определенности. Здесь как бы неопределенность более высокого уровня, связанная с произвольностью, «алеаторностью» самого приписывания истинностных значений, их наличия или отсутствия. Чтобы подчеркнуть эту специфику, можно ввести понятие алеаторных (нефиксированных) высказываний, истинностные значения которых неоднозначно определяются их смыслом и соответствующими фактами. Эта неоднозначность позволяет с равным правом утверждать, отрицать или воздерживаться от утверждения или отрицания подобных высказываний, что и означает их сверхразрешимость.

Алеаторика обыденных высказываний приводит к заметным отклонениям от классической логики. В повседневной речи «да и нет», «ни да, ни нет» звучат так часто, что объявлять такое словоупотребление противоречащим смыслу логических частиц – значит обвинять людей в непонимании родного языка. Смысл логических слов задан типичной практикой их употребления, и, если та практика отклоняется от законов классической логики, значит, законы эти не являются в естественном языке аналитически истинными, не предопределены смыслом логических слов.

Было бы поспешным, однако, заключение, что эти законы эмпирически ложны, что они опровергаются, например, самим фактом существования «пограничных» явлений вроде промежуточных оттенков цвета. Можно ли считать эмпирическим фактом, что данный цвет – и красный, и не красный? Мы видели, что сама формула «и красный, и не красный» – лишь один из равноправных способов описания промежуточного оттенка цвета. Другие способы столь же оправданы, они не исключаются ни смыслом употребляемых слов («красный», «не», «и»), ни тем, что фактически наблюдается. Алеаторика описаний выступает здесь как своеобразная форма эпистемической свободы. И эта свобода оказывается одновременно и свободой логической, свободой выбора логики.

Выбор для промежуточного оттенка цвета однозначного описания («красный» либо «розовый») позволяет сохранить классическую логику; выбор описания «красный и не красный» означает отказ от закона непротиворечия (и тем самым выбор паранепротиворечивой логики); выбор описания «не красный и не не-красный» означает отказ от закона исключенного третьего (и тем самым выбор одной из многозначных, парциальных или других неклассических систем). Таким образом, спорные законы классической логики можно сохранить посредством своеобразного акта свободного выбора, как бы встроенной конвенции. Сохранить как алеаторно-синтетические истины. Такой выбор может оказаться наиболее удачным в плане прагматическом, – с точки зрения простоты, удобства, эффективности применений. Однако в эпистемическом отношении этот выбор не более оправдан, чем его неклассические альтернативы. Алеаторность дискуссионных логических законов (в том числе законов непротиворечия и исключенного третьего), в сущности, означает, что философский спор об их истинности является не неразрешимым, а сверхразрешимым, т.е. допускающим эпистемически равноправные объективные решения.

Сверхразрешимой, по-видимому, является и проблема логических парадоксов. Высказывание «это предложение ложно» в рамках логики естественного языка может быть с равным правом отнесено к истинным, ложным, истинным и ложным, не истинным и не ложным. Парадоксальные высказывания, как и «пограничные», относятся к числу алеаторных; их истинностные значения не предопределены ни смыслом логических слов, ни соответствующими фактами (в данном случае – фактами, относящимися к структуре и содержанию парадоксального высказывания). Эпистемически непредопределенным является, соответственно, и выбор логических систем, разрешающих парадоксы. Различные их решения выглядят довольно искусственными именно потому, что в рамках естественной логики – логики естественного языка – парадоксы не могут иметь однозначного решения.

Либерализм этой логики воспринимается как логический анархизм, граничащий с алогизмом и иррациональностью. Логика, допускающая равноправие ответов «да», «нет», «да и нет», «ни да, ни нет», выглядит как логика, подписывающая себе смертный приговор. Между тем равноправие этих ответов необязательно представлять как равноправие альтернативных логических систем, реализующих один из ответов. Это равноправие вполне осуществимо в рамках единой логической системы, достаточно простой и есте-

ственной. Технически ее можно представить как трехзначную логику, в которой третье истинностное значение – «неопределенность» – является выделенным, как и значение «истина». То есть неопределенные высказывания можно утверждать, как и истинные высказывания, однако ввиду неопределенности их отрицание тоже утверждаемо. Отрицание, конъюнкция и дизъюнкция неопределенных высказываний являются, естественно, неопределенными. В частности, «А», «не-А», «А и не-А», «не А и не не-А» оказываются неопределенными и, следовательно, утверждаемыми при неопределенном А. Такова простейшая логическая модель равноправия «да», «нет», «да и нет», «ни да, ни нет» для «пограничных», парадоксальных и других алеаторных высказываний. Интересно заметить, что формулы «не А и не-А», «А или не-А» при любых значениях А имеют выделенные значения – «истину» или «неопределенность». То есть мы имеем право утверждать эти формулы, соответствующие законам непротиворечия и исключенного третьего, и вместе с тем – утверждать «А и не-А» и «не (А или не-А)» для неопределенного А. Таким образом, элементарная логическая система, приближенная к логике естественного языка, оказывается более диалектичной, чем академическая диалектика: само отрицание закона непротиворечия является в ней диалектическим отрицанием.

Проблема теоретико-множественных парадоксов (и аналогичных парадоксов для свойств) выходит за рамки узко логической проблематики, так как при построении парадоксов используются спорные экзистенциальные посылки. Это предположения о существовании конкретных множеств и свойств, характеристики которых оказываются противоречивыми. Парадоксы рассматриваются обычно как опровержение этих экзистенциальных посылок, приведение их к абсурду. Однако нередко они рассматриваются и как приведение к абсурду платонизма, т.е. самого предположения о реальности множеств, свойств и других универсалий, и абстрактных объектов. Разумеется, это не дедуктивное опровержение, а всего лишь индуктивное свидетельство, использующее факт парадоксальности отдельных универсалий, существование которых выглядит вполне очевидным. И здесь перед нами уже не математические проблемы существования, а онтологические проблемы, однозначная разрешимость которых вызывает серьезные сомнения. Ни прямые, ни косвенные доказательства существования здесь уже не имеют обычной доказательной силы.

Непосредственное созерцание абстрактных объектов? Интеллектуальная интуиция, мысленное рассматривание. «Созерцание очами разума» – метафора или реальность? Нечеткость понятий созерцания, восприятия, наблюдения исключает однозначное решение этого вопроса. В качестве исходных «эталонных образцов» здесь выступают примеры чувственного восприятия самых обычных предметов. Дальнейшее расширение сферы приложения терминов основано на уподоблении этим образцам, но степень требуемого подобия неопределенна. В отличие от примера с «красным», здесь нет даже ограничителей вроде «оранжевого» или «розового».

Косвенные доказательства в сфере онтологии также упираются в неустранимые неопределенности. Никто не сомневается в том, что теоретические объекты – числа, множества, поля и электроны – прекрасно «работают» в физике, так же как ментальные объекты – мысли, чувства, образы и ощущения – в психологии. Но справедливо ли заключение от полезности к истинности? От предсказательного успеха теорий – к реальности постулируемых ими объектов? Сторонники подобного заключения исходят из того, что только реальность объектов может объяснить успех предсказаний, иначе этот успех останется просто чудом. И ничто так не противоречит самому духу научности, как допущение чудес. Однако само понятие чудесного является нечетким и по объему, и по содержанию. Ясно, что наука не может объяснять все, это привело бы к бесконечному регрессу или порочному кругу. Что-то должно оставаться необъясненным. И желательно, чтобы это необъясненное не очень нуждалось в объяснении, не слишком сильно походило на чудо. «Не слишком сильно походило на чудо» так же неопределенно, как и «не слишком сильно походило на красное». Уточнения возможны, но их выбор так же не предопределен, как и в случае цветовых границ. Оппонент всегда может отклонить предложенное уточнение как интуитивно неприемлемое. Не следует забывать и о том, что все уточнения совершаются, в конечном счете, в неточных терминах. Алеаторика может быть сильно потеснена, но полностью неустранима.

Само понятие существования кажется достаточно четким, чтобы фиксировать экзистенциальные высказывания, включающие нечеткие термины. Существование красных предметов, как и существование розовых, не становится неопределенным из-за нечеткости цветовых обозначений. Эта нечеткость вызывает алеаторику лишь в пограничных случаях, когда речь идет о существовании

оттенков цвета, которые являются и розовыми, и красными, или красными и не красными. Мы можем испытывать серьезные трудности при проведении границы между чувствами и ощущениями, но эти трудности не повлияют на определенность вопроса о самом существовании чувств и ощущений. Поскольку онтология занимается проблемами существования основных категорий предметов, у нее есть шансы свести к минимуму алеаторику экзистенциальных высказываний.

Фиксированность теорий, однако, может практически сводиться на нет алеаторикой метатеорий. Мы уже отмечали роковую роль нечеткости понятий «объяснительная сила», «интуитивная приемлемость», «подтвержденность непосредственным наблюдением» в дискуссии об альтернативных онтологиях. Общеприемлемость критериев выбора теорий может обеспечиваться лишь их нейтральностью, «дотеоретичностью», независимостью от альтернативных уточнений. Метатеоретические критерии логичности, непротиворечивости, когерентности, рациональности, доказательности, эмпирической обоснованности, объяснительной силы, простоты, универсальности могут быть эксплицированы, но альтернативные экспликации являются в свою очередь спорными логическими и эпистемологическими концепциями, выбор между которыми требует применения все тех же критериев в их нейтральном, т.е. неуточненном виде. А значит – использования алеаторных метавысказываний, превращающих проблему выбора теорий в сверхразрешимую даже при фиксированности высказываний внутри самих теорий.

В сущности, это относится к выбору не только философских, но и научных теорий, если они рассматриваются именно как теории, а не просто как полезные формальные конструкции. Никто не сомневается в практической ценности классической математики или квантовой механики, но это не мешает научным оппонентам этих дисциплин рассматривать их как всего лишь полезные фикции или бессмысленные наборы символов. Научные проблемы являются точными и однозначно разрешимыми лишь как проблемы формальные наподобие шахматных задач. Как только речь заходит о познавательной ценности, осмысленности и истинности, проблемы превращаются в философские, и иллюзия точности и определенности моментально рассеивается. Философские понятия, как правило, заимствованы из обыденного языка или определяются в его терминах. Независимый философский новояз, сплошь составленный из «интенций», «трансценденций» и «апперцепций», можно представить себе лишь как неинтерпретированную формальную

систему. И если подобные системы, разработанные в специальных науках, находят самые разнообразные практические приложения, от систем философских вне их содержательной интерпретации такого эффекта ожидать не приходится. Философия может претендовать на практическую значимость только через конкретные научные теории, реализующие ее идеи. Основная задача философствования – постижение реальности, объяснение мира, превращение непонятного в понятное. Последним словом здесь может быть лишь понятное, а значит – выразимое на простом и естественном языке. В конечном счете – на обыденном языке, с которым философия не может не считаться и от неопределенностей которого она не может полностью избавиться. Объяснение предполагает различение ясного и неясного, понятного и непонятного, очевидного и неочевидного, чудесного и нечудесного, и на примере онтологии мы уже сталкивались с неопределенностью подобных различений. Выбор между альтернативными объяснениями также предполагает в конечном счете использование интуитивных критериев, выразимых в естественном языке, и алеаторика здесь опять-таки неустранима. В онтологии эта «метаалеаторика» практически сводит на нет фиксированность самих экзистенциальных высказываний. Универсальные же высказывания, в отличие от экзистенциальных, непосредственно связаны с пограничными проблемами. То, что можно сказать обо всех А, обычно зависит от границ А, в то время как «существуют А» от них не зависит. Это уже отмечалось в связи с разграничением чувств и ощущений. Представим себе философа, отстаивающего тезис: «Все чувства делятся на положительные и отрицательные». Его оппоненты приводят как контрпример чувство удивления. Следует ответ: «Удивление – это не чувство в собственном смысле слова, это особое психическое состояние». Интуитивное понятие чувства не дает возможности разрешить спор, оно нечетко и допускает различные уточнения. Выбор между ними может быть только косвенным – через сравнение приемлемости психологических теорий, использующих альтернативные уточнения.

И здесь мы вместо нечеткости понятия «чувство» снова сталкиваемся с нечеткостью самих критериев выбора теорий.

Проблему экспликации понятий можно условно сравнить с проблемой уточнения оригинала нечеткого фотопортрета. На основе самого портрета проблему не решить, его нечеткость позволяет самые различные уточнения. Четкие фотографии похожих лиц здесь в равной степени пригодны. Вдобавок и косвенные сви-

детельства о том, кто, когда и кого отснял, могут оказаться неоднозначными. Например, если одновременно фотографировались близнецы, которых присутствовавшие при этом посторонние лица не в состоянии различить. Нефилософы всегда требовали от философов прямого и недвусмысленного ответа на вопросы типа «что такое?». Чтобы оправдать свой хлеб, представители философской профессии должны были четко и однозначно определить, что такое истина, добро, красота, счастье, любовь, справедливость. Но четкость и однозначность (т.е. единственность) определений несовместимы, так как сами исходные понятия нечетки и допускаются самые различные уточнения. И дело вовсе не в абстрактности и общности понятий. Столь же нечетки по смыслу самые простые наименования самых прозаических вещей в мире. Они, как и наименования оттенков цвета, являются уподобляющими, а не отождествляющими, и степень уподобления здесь столь же неопределенна. Мы отличаем людей от животных, деревья от камней и столы от стульев не потому, что знаем их непременные отличительные признаки, а потому, что при освоении языка знакомились с исходными образцами и дальше опирались на самое общее сходство с ними. Общее подобие, сходство в целом, без выделения частностей, признаков, критериев. Здесь перед нами уже не просто неопределенность градаций одного признака, как в понятиях красного, большого, тяжелого, а неопределенность самого набора признаков, на котором основано употребление слова. Мы можем, конечно, назвать типичные признаки человека – прямохождение, двуногость, отсутствие сплошного волосяного покрова, способность к труду, мышлению, речи и т.п. Но ни один из них не является обязательным: безумный человек для нас остается человеком, так же, как немой, безногий и безрукий. Философы в различных определениях человека также использовали признаки вроде способности к производству орудий труда, наличия сознания, разума и речи, но признаки эти интерпретировались как «типовые», «нормальные», «сущностные», т.е. логически необязательные. Более строгий подход к дефинициям означал бы, по существу, исключение из числа людей кого-то, обычно относимого к людям, и такого рода дискриминацию было бы трудно оправдать как в логическом, так и в нравственном отношении.

При достаточно четкой интуитивной очерченности объема обыденного понятия и неопределенности его содержания проблема реального определения становится чрезвычайно трудной. Такова, например, проблема определения знания в современной аналити-

ческой эпистемологии, практически зашедшая в тупик после обнаружения контрпримеров к традиционному определению знания как оправданной истиной веры.

Однако в большинстве случаев объем обыденных понятий является весьма неопределенным, и это создает возможность отклонения контрпримеров к определениям. Многое из того, что выставлено в галереях современного искусства, вызывает у посетителей сомнения в применимости к нему слова «искусство». Объем этого понятия является нечетким даже на уровне обыденного употребления слова. И это дает возможность философу, определяющему искусство в терминах прекрасного или отражения, отклонить модернистские контрпримеры как не относящиеся к искусству «в собственном смысле слова». Аналогично с определением религии как веры в бога, исключающим пограничный случай буддизма. Или позитивистскими определениями науки, исключающими пограничный случай метафизики.

Нечеткость смысла выражений естественного языка нередко означает и сверхразрешимость проблем, связанных с содержательной адекватностью определений и аналитичностью высказываний. Типичный пример – проблема связи долженствования и возможности, т.е. правомерности заключения от «он должен это сделать» и «он может это сделать». Условное высказывание, соответствующее этому заключению, не зависит от наблюдения фактов, его истинностное значение определяется только смыслом слов, но определяется неоднозначно. Это характерный пример алеаторно-аналитического высказывания.

Фиксированные аналитические высказывания могут превращаться в алеаторные при их логическом обращении. Никто не сомневается в том, что свобода означает отсутствие принуждения, но означает ли отсутствие принуждения свободу, не столь ясно, и интуиции здесь расходятся. Диагноз ясен и нефилософу: свобода и несвобода – «понятия растяжимые». Исходные образцы несвободы – простейшие примеры принуждения (удерживания, связывания, заключения). Но далее мы на основе интуитивного уподобления применяем термин сначала к ситуациям внутреннего принуждения (одержимости, внутренней зависимости), а затем – и к любым ситуациям, в которых различные препятствия мешают осуществить намерения. Так что возникает абстрактная возможность полного отрицания человеческой свободы, основанного на максимальном «растягивании» понятия несвободы. С другой стороны, философ, стремящийся совместить существование свободы с детерминизмом, может соответственно «сузить» объем понятия несвободы, ограничив его случаями внешнего принуждения.

Отстаиваемый философом тезис нередко используется как прокрустово ложе для объема понятий. Этот объем выбирается так, чтобы обеспечить истинность или по крайней мере правдоподобие тезиса. Применяются обе операции Прокруста: растягивание объема понятий и его сужение (в основном – отсечение пограничных контрпримеров). Алеаторика, связанная с нечеткостью объема и содержания исходных понятий, позволяет выработать своеобразную стратегию неуязвимости, когда философ, достигший семантической виртуозности, способен защищать самые неправдоподобные тезисы. Эта стратегия, однако, не является специфическим достоянием философии. Она выступает как развитие и усовершенствование «прокрустовых» операций обыденной аргументации. Когда девушка, например, настаивает, что любовь не бывает без ревности, а примеры неревнивой любви отклоняет как «ненастоящую» любовь. Или политик заявляет, что демократия немыслима без парламентаризма, а примеры непарламентарной демократии отклоняет как не имеющие отношения к «подлинной» демократии.

Поскольку реальные определения понятий, как правило, алеаторны, стремление к фиксации высказываний приводит к определениям номинальным, выступающим как условные соглашения об употреблении слов. «Прокрустизация» принимает форму аксиоматизации: философы склонны порой рассматривать постулаты своих теорий как неявные определения терминов. Вытесненная конвенциями из самих теорий, алеаторика возвращается на уровне метаязыка, ибо сравнение приемлемости альтернативных теорий – проблема реальная, а не номинальная.

Неустранимость алеаторики означает, в сущности, сверхразрешимость философских проблем – на теоретическом или метатеоретическом уровне. И это не свидетельство бессмысленности самих проблем или их решений. «Да и Нет» философов – там, где оно обусловлено неизбежной нечеткостью понятий, – в принципе не отличается от обыденного «да и нет», освященного здравым смыслом и внутренней логикой естественного языка.

Записки обреченного философа

Конец играм. Остался один год. Через год меня уже не будет. Этот стол будет, этот лист будет, а меня не будет. Как-то не доходит. Слова доходят, суть не доходит. Тянет в позу, это смешно, но не очень. Не смешно. Трудно собраться с мыслями.

Эскулапы морочили голову. Заключение консилиума мрачновато-неопределенное. Спасибо Марку – перевел на русский язык. Превратил заключение в два слова: «Один год». Зануда-отличник в школе. Теперь восходящее светило медицинской науки. Как коллега коллеге… не вправе утаивать... ученый должен завершить начатое... как мужчина мужчине... не за что... все там будем... с этой работой ко всему привыкаешь... И что-то еще, не припомню. Все логично. Оставалось лишь благодарить да кланяться. Он всегда был логичен. До омерзения. Никогда мы его не любили. И всегда недооценивали.

Вестник богов. Гермес-Эскулап. Глас судьбы. Диспут в общежитии: «Существует ли судьба?» Стоп, это уже бред. Не распускать слюни. Слюни-сопли. Путаясь в соплях, вошел мальчик. Это Ильф, наверное. Из «Записных книжек». Черт с ним, неважно. Не отвлекаться. «Стоически, как и подобает философу, встретил смерть с улыбкой на устах». С кисловатой улыбкой. Другой у меня не получится. Что я там находил в стоиках? Ничего в них нет. Декламация и поза. Не делай ни шагу без правил, но помни, что каждый твой шаг предопределен мирозданием. Как они умудрялись обрести безмятежность, «атараксию» в этой путанице? Может, и не обретали. Заговаривали, заборматывали себя и других. Нет, ты несправедлив к ним. Не в этом состоянии раздавать оценки. Только в этом состоянии и раздавать оценки. У кого это? У Блока? «Истинная ценность жизни и смерти определяется только тогда, когда дело доходит до жизни и до смерти. Нам до того и до другого далеко». Надо проверить. Сверка цитат. Не надо проверять. Блок простит. Теперь все это неважно. Что же важно? Страха

смерти нет. Какая-то нервозность, внутренняя суетливость. Меняю внешнюю суетливость на внутреннюю. По договоренности. Договоренность со смертью. Фаустовский контракт с дьяволом. Душу заложу. За что? Не возьмешь мою душу живу! Полуживу. Душу полуживу не за что заложить. «Ученый должен завершить начатое». Завершить. Закруглить. Оставить потомству. Оставить след. Наследить в истории. Не вдохновляет. В голове сумбур. Сегодня мне не собраться с мыслями.

* * *

Нервозность моя, в сущности, ни на чем не основана. Ни физического страха смерти, ни жадной привязанности к жизни нет. Слепая сила инстинкта – жить во что бы то ни стало, даже если жизнь давно уже не в радость. И здесь мы не властны над собой. В чем же властны?

Год назад чуть не угодил под машину. Представил себя в реанимации. В морге. В крематории. Подумал, чего больше всего жаль. И мысль ни на чем не могла остановиться. В сущности, нечего терять. Нет ничего, что железной хваткой удерживало бы в жизни. Кроме автоматизма самой жизни, ежедневного беличьего колеса. Как у Толстого в «Исповеди»: «Если бы пришла волшебница и предложила мне исполнить мои желания, я бы не знал, что сказать». Сколько раз цитировал «Исповедь» студентам! Но как-то не всерьез, как будто смакуя самые эффектные места. И вот теперь, когда дело дошло до сути, голой сути, я ни черта не понимаю в этой самой «Исповеди». Почему Толстой так ужаснулся смерти, когда к жизни ничто уже не привязывало? Зачем ему понадобилась вера в бога и в бессмертие? Будда, разочаровавшись в жизни, боялся ее продолжения, а не окончания. Боялся бесконечной серии грядущих воплощений, даже самых блаженных и райских. Какие-то идиоты во времена Будды рекламировали его учение воплями: «Спасение от смерти найдено!» Тут бы возопить: «Спасение от жизни найдено!»

Ночью не спалось, и в памяти всплыло недолгое мое увлечение проблемой бессмертия, биологической его возможности. Тогда мне казалось удивительной слепотой нежелание людей понять, что это единственная проблема. Нужно все бросить и всем навалиться на эту Проблему, а уж когда обеспечим себе вечность, можно будет баловаться пустяками. Беспечность людей перед ли-

цом неминуемой смерти казалась мне вопиющим недомыслием. Мелькала, помню, и эгоистичная мыслишка, нельзя ли все это провернуть, пока я сам не дал дуба. Растянуть оставшиеся годы с помощью умеренности, физкультуры, мудрой диеты, а там, глядишь, наука что-нибудь придумает, сначала, конечно, для немногих, и надо попасть в число этих немногих, выбиться в круг избранных, элиту бессмертных.

Но прошло несколько лет, и я уже не знал, зачем мне нужно не то что бессмертие, но и самое обычное долголетие. Зачем все тянуть и тянуть эту резину. Последние годы жил механически, в каком-то полусне. Ничего не ожидая и ни о чем не жалея. Чего же теперь-то вскинулся? Какой петух клюнул? Что мне этот год? И какая разница – год, месяц, день? Тотальная мобилизация! Свистать всех наверх! Напрягся, как на краю пропасти, нервы натянуты, сердчишко стучит прямо в ушах, умишко мечется, цитатки роятся в машинной памяти. Парад алле! Буря в стакане воды!

Нет, голубчик, здесь не отшутишься. Смерти нет дела до твоих счетов с жизнью. У нее свой счет. Последний и неотразимый. Она крушит заслоны цитат, уловок, силлогизмов. Она требует тебя всего целиком, голеньким, жалким, беспомощным. Не сумевшим толком прожить, не знающим, как умереть. Страх смерти? Нет, вызов смерти! Вызов, требующий ответа. Прямого, без обиняков. Как жил? Чем жил? Жил ли? Вот он, страшный суд, здесь, а не на небесах. И ты сам – судья и ответчик, палач и жертва.

Философствовать – значит учиться умирать. Так нам долбили Платоны, Цицероны, Монтени. Черта с два! Наоборот: умирать – значит учиться философствовать. Значит впервые начать мыслить. Впервые начать жить. Впервые осознать все, что мелькало в туманном похмелье жизни. Очнуться от многолетней спячки. От летаргии «жизни, как она есть». Как она есть! Как ее нет! И не было, кроме детства. Вот тогда жил! Жил как перед смертью – широко разинув рот, глаза, уши, душу. Умирать – значит родиться заново. Значит, начать все с нуля. Смерть – это жизнь. До нее – только существование, сонное прозябание. Смерть – последний мой шанс. Пинок Господа Бога в косную мою задницу. Может, я – счастливчик. Избранник судьбы, любимец богов. Мне дан шанс вытащить себя за ворот из болота, как Мюнхгаузену. Страх смерти, слепой инстинкт, животный порыв? Пусть так. Неважно. Важно лишь пробуждение, обновление, возрождение. Фрейд сказал бы, что я собираюсь сублимировать страх и оседлать Танатоса как Пегаса. Правильно, Фрейдюша, правильно, милый. Смейся надо мной, смейся

со мной, мне так вдруг полегчало, дурачку. Надолго ли? Всё кидает из хлада в пламень и снова в стужу. Лихорадка юродивого.

* * *

Сегодня уже не могу понять вчерашний подъем. Энтузиазма никакого, и непостижимо, откуда он взялся. В мозгу холодный логический перебор вариантов, ревизия ресурсов. Что осталось в загашнике? На что можно опереться? Философ-профессионал, вроде бы и карты в руки, но что за карты? Какими любимыми цитатками побьешь козыри смерти? Торо сетовал, что профессоров философии навалом, а философов нет. Был ли я когда-нибудь философом? Думал ли о жизни всерьез? Но не во мне одном дело. Вряд ли коллеги по профессии оказались бы на моем месте в лучшем положении. «Философия – не помощь». Ромео (то бишь У. Шекспир) это уже знал. А я лишь начинаю постигать. Вспомнился безнадежно больной Гейне. Его желчный вызов философии:

«Брось свои иносказанья
И гипотезы пустые!
На проклятые вопросы
Дай ответы нам прямые».

Весь этот хрестоматийный арсенал в башке моей сейчас высвечивается по-иному. Сегодня даже напевал на какой-то игривый мотивчик гётевскую рекламу книготорговца: «Люди! Спешите узнать, для чего вы живете на свете! Ключ к этой тайне продам ровно за десять грошей». От дурачества этого перешел вдруг к нанизыванию цитат, цепляя слово за слово, мысль за мысль.

«Мы стали богатыми в познаниях, но бедными в мудрости».
(К. Юнг)

«Немногому могут научить мудрецы наши».
(Ф.М. Достоевский)

«Эта претензия философов на мудрость, встречаемая иногда на земле, безумнейшая и наглейшая из всех претензий».
(Ф. Ницше)

«Что мудрость, коли счастья не может дать она?»
(Еврипид)

Цитатки-изюминки, старое доброе средство спасти студентов от скуки! Среди них я наталкивался на мысли, казавшиеся соломинкой утопающему. «Пренебрежение философствованием и есть истинная философия». Может быть, Паскаль прав? Может, мне надо отбросить то, чему всю жизнь учился, забыть обо всем, начать с нуля? Легко сказать – с нуля! И что я рожу с нуля? Я вообще уже не в том возрасте, когда что-либо рожают. Бесплодие. Кто-то уже объявлял его позором философии. Сравнивал с позором бесплодной женщины на Востоке. Ницше? Нет, Кьеркегор. Молчание философии в ответ на вопрос «Что делать человеку? Как жить?» казалось ему уничтожающим доводом против нее самой.

Хорошенькое молчание! Оглохнуть можно. Сотни и тысячи рецептов жизни, правил мудрости, бальзамов для души. Кьеркегор, правда, сравнивал философские учения о жизни с вывесками на толкучке «Стирка белья». Притащишь белье, – а это, оказывается, всего лишь вывеска для продажи. Ворчун Рассел бубнил, что философия всегда, с самой древности имела больше притязаний и меньше результатов, чем любая другая область знания. Он имел в виду результаты надежные, доказанные, общезначимые. Но мне сейчас наплевать на доказательства, обоснования, споры и разногласия. Я утопающий. Согласен и на соломинку. Не претендую на «столп и утверждение истины». Ницше где-то предупреждал, что даже вынырнуть и очнуться на мгновение мы не можем собственными силами, нас должен поднять кто-нибудь из тех подлинных людей, которые уже не звери. Это философы, художники и святые. Где они? Где Соломоны, чудесами мудрости привлекающие толпы людей со всех концов света? Куда они подевались? В каких Гарвардах их искать?

И что дошло до нас из мудрости Соломонов и Будд? Почти ничего, кроме отрицания жизни как тщеты и суеты. Толстой был поражен пессимизмом философской мудрости, – в период душевного кризиса он не нашел в ней помощи и поддержки. И утопая, ухватился за мужицкую веру в бога. Но мужиком не стал и подлинной веры так и не обрел. Вера в бога и бессмертие – лекарство от страха смерти. Но этот страх – лишь один из тяжких недугов графа. Он страдал и от пресыщения жизнью, доходящего до отвращения к жизни. Казалось бы, надоело жить – чего ж тут бояться смерти? Но страх смерти иррационален, это, в сущности, биологический страх, и он обретает новую силу, когда шум жизни перестает его заглушать. Толстой не нуждался в райском блаженстве, он бы с него зачах. Ему нужны были две вещи – избавление от

страха смерти и избавление от пустоты жизни. Помогла ему не сама вера, а обновление жизни, с нею связанное. Толстой, как и все мы, нуждался не столько в «спасении», сколько в обновлении, перерождении. Человек, утративший аппетит, мечтает о его восстановлении, а не о вечной непрекращающейся трапезе. Тем более – аппетит к жизни.

Ницше определял философию как инстинкт к диете. Преодоление всеядности, укрощение страстей, самоограничение, строгий выбор в жизненной трапезе – почти синонимы философского отношения к жизни. Шопенгауэр отмечал, что философия не дала ему никаких доходов, но избавила от многих трат. Философия как диета является скорее ограничением числа блюд, чем творением новых. Переоценка ценностей, о которой трубят со времен Диогена, свелась в основном к их уценке. Уже Кратет Фиванский сделал определением философии презрение ко всем привычным человеческим ценностям. «По торным тропам не ходить!» Завет-запрет Пифагора. На деле он привел к выбору узких тропинок, а не прокладыванию новых. Кто серьезно верит сегодня прорицанию Ницше: «Есть тысячи троп, которые еще никогда не пройдены, тысячи здоровых сил и скрытых островов жизни. Не исчерпаны и не открыты человек и земля человека»?

Толстой, этот титан, творческой силой бросавший вызов творцу, избирает для обновления жизни самую торную из троп – христианское самоотречение. И мучается до конца дней, – не для него тропа эта. Но ничего лучшего не видит, не находит. Его пример меня добивает, иссякает вера в изобретательность узника, загнанного в тупик жизни. Мне ли, муравью, из этого тупика выбраться? Способности моего интеллекта – чисто аналитические, в лучшем случае комбинаторные. Я не творец. Лихтенберг – то ли в шутку, то ли всерьез – утверждал, что из различных инстинктов человека можно было бы, как из шахматных фигур, скомбинировать лучшую жизнь. Я уже не верю в комбинаторику. Без обновления инстинктов не представляю обновления жизни. Но что за химера – обновление инстинктов? Сменить кожу, как змея? Переделать саму природу – свою собственную и человеческую натуру вообще? Хватит прожектов, голова разламывается.

Чего я, собственно, добиваюсь? Что мне нужно от этого года? Наверстать все упущенное? Но это просто смешно. Говорят, есть мгновения, равные вечности. И за год настоящей жизни можно отдать десятилетия. Но чего я, собственно, не добрал? Что мне наверстывать? Кого догонять? Что упущено? Упущена жизнь. Это

ясно каждому умирающему. Толстовский Иван Ильич вроде бы понял, почему упущена, – не было любви к людям – христианской, всеобъемлющей, переполняющей душу. Но вытащи его врачи с того света, вытяни за ноги из черной дыры, в которую затягивала его смерть, – и он не смог бы удержать в себе это чувство любви, его остроту, пронзительность, глубину, он бы только твердил себе, как попугай (как сам Толстой, – простите, граф, обреченного): «Надо любить людей, надо любить людей, надо любить людей...»

Нет, на чудо обновления не надеюсь. Хотя и ощущаю обострение всех чувств, образов, мыслей. Но это естественная мобилизация, реакция организма на приговор. Нервный фон, общая тревожность, стресс, – как там еще это называется. Экзистенциалисты высоко ценят «пограничные ситуации» как средство пробуждения личности к «аутентичному существованию». Наплевать мне на аутентичность моего существования, на «самореализацию» моего бесценного «Я» – грош ему цена! Но что-то постичь, осознать за этот год я все же хочу. И знаю, что это мой единственный шанс что-то понять в жизни, – этого шанса у меня не было бы, если б не приговор. Приговор к смерти – приговор к жизни. К постижению жизни. Смерть не научит меня жизни – настоящей жизни, которой не научила сама жизнь. Но должна научить меня мыслить. Научить философа философствовать. Она уже отмела все, что мешало мне думать о жизни. У меня не осталось других занятий. Необычайное чувство свободы – впервые в жизни. Меня освободили, – связали по рукам и ногам, бросили в одиночку, объявив, что смертный приговор будет приведен в исполнение через год и обжалованию не подлежит. И тем самым освободили. Освободили от суеты, от псевдопроблем, от меня самого.

Впервые все стало необязательным, факультативным. Это удивительное чувство. Полная обреченность и полная свобода. Может быть, это сиамские близнецы? Только неумолимый рок освобождает? Только фатум либерален? Дискуссии аналитиков о совместимости детерминизма и свободы! Они кажутся теперь... нет, не глупыми, а какими-то выхолощенными, какими-то «не о том», какими-то «мимо». Всё – мимо, все профессиональные диспуты – мимо, вся моя карьера – мимо. Мимо чего-то единственно важного, чего мы не чувствуем, не ощущаем. Все наши диспуты – наваждение, сон, бормочущее забытье. От этого бреда разом не избавишься – все старые привычки мысли, вся арифметика «за» и «против»», пижонство полемики и мелочовка цитат со мной, во мне, в крови, в мозгу. Надежда лишь на необычный свет, в кото-

ром я теперь все вижу, на мышление нутром, хребтом, каждой клеточкой организма. Да, мозг – не орган мышления. Думать начинаешь лишь когда подключается селезенка, когда мысль – не треклятая «функция мозга», а состояние организма, всего существа. Если мозга, то скорее уж костного.

Все эти дни меня пронизывает предчувствие, нет, даже не предчувствие, а сознание готовности, необычайной готовности к озарению, постижению, прозрению. Нет, никакой мистики, здесь что-то другое. Это может быть и не сразу, и не молния с небес, просто чувствую, что у меня впервые появился шанс что-то понять, а понять что-то – это почти то же, что понять все. Просто впервые свободен от всего, что мешало мыслить, понимать, осознавать. Пелена спадает с глаз, и невозможно поверить, что ничего не увижу. Господи, мне ничего не надо, мне надо что-то понять, постичь, сам не знаю что. Все, и ничего, в частности, ничего в деталях и мелочах. Я впервые пуст, прозрачен и свободен. Впервые способен что-то вместить. Впервые не боюсь света, открыт свету. Неужели и это – обман, иллюзия, экзальтация?

* * *

Сколько дней прошло? Только сейчас заметил, что не пишу дат в дневнике. Инстинкт – избегаю рокового отсчета дней. Черт с ним, неважно. Не буду выпендриваться и героически загибать пальцы. Мне сейчас ни к чему увеличивать нервный напряг. Нужно отбросить все, что мешает и сковывает. Но что мне мешало все эти дни? Как будто ничего, а я ни на йоту не продвинулся. Как в горячке, кидался от логических построений к потоку воспоминаний, от мысленных пререканий с десятком философов к пассивному ожиданию озарения, просветления. Из воспоминаний ничего не удается скомбинировать, – коллаж, лоскутное одеяло, калейдоскоп жизни. Логические игры никуда не ведут. Они всегда беспроигрышны. На любой аргумент всегда найдется контраргумент, любого туза можно побить козырем. Белые начинают любой фигурой и не проигрывают – эту шахматную задачу всегда решали только философы. К тому же логические выводы не могут дать большего, чем заложено в посылках. Мясорубка логики выдает то же, что в нее забросил, только в пережеванном виде. Жвачка эта меня лишь выматывает.

Озарение, просветление, откровение... Это не для меня. Мистически бездарен. Полная инвалидность по части шестых чувств. Никакой глас свыше не приму, даже если услышу. Сочту за бред и собственное безумие. Да и какой формулой господь мог бы меня просветить? Моя проблема – не вопрос, и ответом тут не поможешь. Понимание, постижение, которого я ищу, скорее интуитивное, чем понятийное, словесное. Оно должно быть чем-то вроде света. Но не ослепительного света мистиков, что чернее тьмы, а преломленного света гигантской линзы, стягивающей в одну точку все проблески жизни. Чтобы можно было собрать в фокус и прочувствовать, понять, ощутить все, что уходит в небытие с моей смертью. Что я хочу понять? Все и ничего. Все разом и ничего в частности. Безумный каприз больного? Может быть. Но каприз невероятно мучительный. И он не проходит. Становится второй болезнью. Первой болезнью. Единственной болезнью.

* * *

Возвращаюсь к дневнику, давно заброшенному. Заброшенному, как и все попытки «прозреть». Я пересек черту, за которой человек ничего уже не ждет и ни на что не жалуется. Не имеет ни притязаний, ни сожалений. Ни мечтаний, ни страхов. Ни маний, ни фобий. Стал совершенно пустым и легким. Во время прогулок постоянное ощущение, что ветру ничего не стоит сдуть меня, настолько я пуст. Нас тянет к земле не масса тела, а масса забот, ожиданий, мыслей, тревог. Всю жизнь чувствовал себя человеком тяжелым. И вдруг оказался полым. Настолько, что перестал ощущать вертикаль. Стремление вверх, прочь от земли, правда, не появилось. Пустые – не святые – не возносятся.

И вот вчера ветер снес-таки меня с дороги. И упер лбом в стену. Обыкновенную стену из старого неотесанного камня. Я и не думал сопротивляться. Мне все равно, во что упираться лбом. В камень, так в камень. Я ничего против камня не имею. Можно пообщаться и с камнем. Постоял, поглазел на камень. Даже не поглазел, не оглядел, а как-то спокойно и тупо посмотрел. С полным безразличием. И вдруг почувствовал, что камень меня притягивает. Что мне трудно повернуться и уйти. Трудно отвести глаза от него. Гипноз. Магнетизм. С трудом отряхнул оцепенение. Резко повернулся и ушел. Но весь день испытывал смутное беспокойство. Тянуло назад, к каменной стене, как преступника на место престу-

пления. Что за наваждение! Надо взять себя в руки, а то помрешь в психушке вместо спецклиники.

Ночью вдруг вспомнил, что такое уже было. Была стена. Стена из грубого камня. Без проемов, без пилястр, без украшений. Торец большого дома. Кажется ратуши. Ратуши в Таллине. Лет двадцать назад. Мы с женой в первомайском Таллине. На улицах синие от холода велосипедисты. Праздничная эстафета. Мы выходим с площади в переулок, я почему-то оборачиваюсь и упираюсь в серый грубый камень. И застываю. Жена тянет меня за рукав, – мы куда-то опаздываем. Пришлось схитрить, – сослался на неотложную нужду, усадил супругу на скамейку во дворике, вернулся. Уставился, «как в афишу коза». Ничего не просек. В камне ничего не было. Абсолютно ничего привлекательного. Ни красоты, ни величия, ни старческой седины. Как будто меня притягивала именно эта простота, неброскость, молчание, достоинство, серьезность камня, его замкнутость и безразличие ко мне, к впечатлению, которое он производит. К впечатлению, которое не производит, – с площади, откуда глазеют на ратушу, торец просто не виден. Камень не вызывал у меня ни воспоминаний, ни ассоциаций, ни мыслей, ни чувств. Он действовал неотразимо, не используя никаких средств воздействия. Действовал своей голой сутью, самим своим бытием, своей жуткой явью.

Случай этот остался без последствий. Не мог их иметь. Он выпадал из жизненной ткани, – никаких связей, аналогов, параллелей. Я не знал, что с ним делать. Мозгу не за что было уцепиться для «выведения следствий». Логическая машина моя буксовала в пустоте, неопределенности и неопределимости. Но время шло – и аномалия забывалась. Изредка схожие камни смутно напоминали о ней, но того впечатления уже не было, да и психика была настолько загружена и замусорена всяким хламом, что вряд ли до меня могло что-нибудь дойти. Иногда в литературе наталкивался на что-то внешне похожее. Клод Моне, часами созерцавший невзрачный стог сена. Но он знал, зачем и почему созерцает, – стремился уловить смену оттенков цвета при изменении освещения. Уловить и зафиксировать на холсте. Пришпилить глазом и кистью, как булавкой бабочку. Бодхидхарма, легендарный основатель дзэн-буддизма, девять лет просидевший лицом к стене пещеры. Но не для того, чтобы видеть стену, а для того, чтобы не видеть ничего. Созерцание камня было лишь средством притупить ощущения, остановить поток мыслей, погасить обыденное сознание, стянув его в точку, очистить психику для мистического сверхчувственно-

го созерцания. Помню, как, рассказывая студентам о Бодхидхарме, я позволил себе маленькую шутку: «Бодхидхарма девять лет просидел лицом к стене, чтобы ее не видеть. Хотел бы я услышать о человеке, который хотя бы девять дней просидел лицом к стене, чтобы ее видеть». Эта невинная шалость – последний отзвук таллинской аномалии. Далее след ее теряется в моей памяти.

Но вчерашний эпизод с камнем не был воспоминанием. Он был повторным ударом, и ударом более мощным, ибо психика моя была беззащитна, абсолютно пуста и открыта. Воспоминание о Таллине меня несколько успокоило. То есть не успокоило, а как бы поддержало, не дало списать все на ненормальное душевное состояние. Отшатнуться и откреститься: «чур меня».

Утром снова уперся в камень. Камень молчал. Не высокомерно и презрительно, а как-то очень запросто, по-свойски молчал. Брось, мол, тебе показалось. Ничего во мне нет. И никогда не было. Пойди, проспись. Все пройдет.

Вернулся и заснул. Проснулся с облегчением. Чушь собачья. Самовнушение. Нашел себе занятие от нечего делать. Вечером вышел подышать. К стене не пошел. На черта она мне сдалась. Я свободный человек. Без маний и фобий. И пока еще в своем уме. В уме. В своем. Я пуст. Да, пуст. Но мне не скучно. Я не радуюсь и не грущу. Я невесом. Я свободен. Смерть меня освободила. Не для того, чтобы я замуровался в стену. В камень. В чушь собачью. Камень обождет. Получит горстку пепла. Из крематория. Недолго ждать. Перебьется.

Ветер понес меня дальше. Кругами, без цели. Мне было все равно, куда и откуда. Принес к дому. Спасибо, я немного устал. Пора вытянуть ноги в кресле. Взял – наугад – книжку с полки. И вдруг – ожогом – строки:

«Так в воздухе, который синь,–
Жажда, которой дна нет.
Так дети, в синеве простынь,
Всматриваются в память».

Снова почувствовал себя выбитым из колеи. Растерянным. Долго не мог понять, в чем дело. И сейчас вот тоже не могу. Как будто силюсь вспомнить что-то намертво забытое. Или что-то, чего никогда не было. В чем я обойден жизнью. Обойден и обижен. Не богом ли обижен? Писание дневника – старое доброе средство –

не успокаивает. Придется принять снотворное. Нашла порча. Не было печали.

* * *

Все эти дни чувствую себя человеком преследуемым. Я в кольце, и кольцо стягивается. Это кольцо самых обычных предметов, картин, звуков. Камень мобилизовал целую армию и двинул против меня. Восстание люмпенов. Презренных, игнорируемых, никогда и никем не замечаемых. Чего они хотят от меня? Я готов воздать им должное. Но что именно?

Вчера, устав от преследования, лег на скамейку и закрыл глаза. На меня навалились звуки. Я решил не обращать внимания. Ложный шаг: внимание начало фиксировать каждый звук, на который не следует обращать внимания. Сливаясь, они непереносимыми аккордами разрывали ухо. Я повернулся на спину и открыл глаза. Надо мной висело облако, светлое и безмятежное. Я решил удрать на облако, забыть все. И это удалось. Кажется, я начал забывать не только окружающее, но и себя самого. Не осталось ничего. Было только облако. Облако и я? Нет, меня не было. Я исчезал, растворялся в облаке. И вдруг – страх за себя. Страх полного исчезновения. Небытия. Я не мог позволить облаку стереть меня, поглотить, растворить. Я переселился в него. Стал облаком. Стал душой облака. Ветер начал трепать облако, и я почувствовал легкий озноб. Край облака начал заворачиваться и отрываться, – я инстинктивно поджал ноги. Ветер распорол облако, – у меня что-то лопнуло и надорвалось внутри. Лежал ни жив, ни мертв, боясь пошевелиться. Сколько времени прошло? Начали покалывать онемевшие ноги. С трудом поднялся. Не помню, как добрался до дома. Болит распоротое нутро. Самовнушение. Надо взять себя в руки.

Ночью проснулся в чернильной тьме. Над дверью узкая полоска света, – забыл выключить лампу в прихожей. Нет сил встать. Дверь закрыта неплотно, свет сходится узким лучом. Луч света в темном царстве. Луч нестерпимо ярок. Темнота, в сущности, тоже, но по-другому. Темнота затягивает, засасывает как омут. Надо не поддаваться, – если и не утону в ней, то меня пропорет луч. Меня уже перекраивали сегодня, хватит. Спасибо. Мне лучше быть лучом, а не тьмой. Луч не боится тьмы. Я луч, я распарываю тьму. Становлюсь все уже, все острее. Достигаю необычайной интен-

сивности на кончике острия. Вся моя сила, весь мой свет сходится в этой точке. Весь мой свет? Хватит ли во мне света? «И если свет, который в тебе, – тьма, то какова же тьма?»

Вспомнился Эльбрус в яркий солнечный день. Под ногами ослепительный снег, над головой ослепительное солнце, впереди ослепительная шапка Эльбруса. Маленький, серенький, комочком грязи зависаю в бездне света. В непереносимой белизне и чистоте. Уродливый, грязный снаружи и изнутри, противный самому себе и боящийся себя потерять. Раствориться и исчезнуть в ослепительном сиянии. Если бы я жил там и каждый день пропитывался этим сиянием! Может, стал бы другим человеком. Или научился бы не реагировать на этот свет, как и местные жители? Замкнулся бы в житейских заботах, наглухо замуровался в них и не пустил бы в себя ни одного луча света? Почему мы так глухи и слепы? Как лунатики, автоматически движемся по крышам, замкнутые в бреду своих забот, желаний, расчетов, огорчений... И очнуться для нас – гибель. Очнуться – значит испугаться и сорваться с гребня крыши.

Так вот чего я боюсь все эти дни! Очнуться и сорваться. Я пробуждающийся лунатик. Серый камень пробил первую брешь в стене моего бреда. Дуновение смерти очистило мою психику, и в образовавшиеся пустоты прорывается действительность. Прорывается мир, ломая скорлупу моего я. Впервые в жизни я начал видеть, слышать, чувствовать, ощущать. Стал открытым для камня, дерева, облака, света, тьмы. Эта открытость, ранимость, незащищенность и пугает меня. Все, что раньше доходило как сквозь вату, теперь раздирает ухо, глаз, нерв. Таллинский камень! Его удар совсем заглох, и последний след, казалось, сгладился в памяти.

«Удар – заглушенный, замшенный – как тиной,
Так плющ сердцевину
Съедает и жизнь обращает в руину...
– Как нож сквозь перину!»

Я вскочил, зажег свет и отыскал этот стих Марины. Но ведь эту книгу я совсем недавно держал в руках...

«Грех памяти нашей – безглазой, беззубой,
Безмясой, безносой!»

Марина как будто подсмеивалась над моей забывчивостью. Двойной забывчивостью.

«Оконною ватой, набившейся в уши,
И той, заоконной:
Снегами – годами – пудами бездушья
Удар – заглушенный...»

Лихорадочно перелистываю страницы.

«Оплетавшие – останутся.
Дальше – высь.
В час последнего беспамятства
Не очнись».

Так вот что меня сковывает! Боюсь забыться, потерять себя, не очнуться... Нужно бесстрашие лунатика. Но лунатика Луны, а не лунатика бреда... Гипноз камня, гипноз облака – это лекарство от гипноза желаний, забот, огорчений. От гипноза бреда. Нужно идти в мир, не оглядываясь... Как лунатик к Луне.

«Я душа твоя: Урания –
В боги – дверь.
В час последнего свидания
Не проверь».

И вот, наконец, отыскал и вспомнил:

«Так вслушиваются (в исток
вслушивается – устье),
Так внюхиваются в цветок:
Вглубь – до потери чувства!

Так в воздухе, который синь, –
Жажда, которой дна нет.
Так дети, в синеве простынь,
Всматриваются в память».

В тот муторный вечер эти любовные стихи обернулись другим – не-любовным – смыслом.

«Так, в ткань врабатываясь, ткач
Ткет свой последний пропад...»

Мой последний пропад... В ткани мира, а не паутине суеты... Но как тяжело врабатываюсь в эту ткань! И тяжесть эта – моя собственная тяжесть. Трудно сбросить самого себя с плеч. Исчезнуть,

раствориться в ткани мира. Насквозь пропитаться лучами, звуками, запахами... Стать деревом, камнем, дождем, светом, тьмой... Исчезнуть? Но разве не этого добивается смерть? Значит, мы с нею заодно? Настоящая жизнь – это и есть смерть. Подлинно живой – себя не помнящий. От себя излечившийся. Разбивший скорлупу, отделявшую его от мира. Влившийся во вселенную и ставший вместе с нею бессмертным...

Поэзия? Мистика? Пантеизм? Но в основе что-то жутко реальное. Абсолютно трезвое и заземленное. Без экзальтаций и возвышенных порывов. Наоборот, желание погрузиться, движение вниз, вглубь. Как будто всю жизнь скользил по поверхности вещей, и вдруг потянуло в глубину... Но как часто выталкивает обратно! Не хватает воздуха? Боюсь не вынырнуть? Панический страх безвозвратности…

* * *

Мои дни стали выстраиваться по образцу той ночи, когда я был сначала полоской света, потом – читателем Марины. Все идет в дело – любое впечатление, любая книга. И то, и другое выбирается случайно, т.е. не выбирается. Но созвучие – фантастическое. Так верующие выстраивают из ничего связную картину божественного откровения и благодати…

Первая половина дня неописуема, но именно поэтому она нуждается во второй. Ничто так не требует выражения, как невыразимое. Сами прорывы в действительность можно лишь условно назвать «слиянием», «растворением», «погружением»... Трудно преодолеть и безотчетные страхи. В человеке, пока он человек, всегда остается боязнь потерять себя, утратить собственное Я, свое тождество, раствориться без остатка в окружающем мире...

Болельщик на футбольном матче не чувствует ледяного дождя, а бандит в пылу схватки – ножа в спине. Но то, в чем они «растворяются», есть, в сущности, лишь продолжение их самих, проекция собственных порывов, надежд, радостей и огорчений. Так паук может забыться и запутаться в своей сети.

«Велик иль мелок человек,
Свой мир он ткет себе весь век
И с ножницами посредине
Сидит уютненько в той паутине».

Главная трудность – прорваться сквозь паутину стандартных чувств, настроений, ожиданий, желаний, предпочтений. Очистить психику настолько, чтобы действительность могла проникнуть в нее.

Если я воспринимаю камень как красивый, величественный, мрачный, грубый, молчаливый, замкнутый, отрешенный, равнодушный, непроницаемый, – я не воспринимаю камень. Воспринимаю лишь проекцию своих состояний, чувств, настроений. Воспринимаю, в сущности, лишь самого себя или свое отношение к камню. Все мы – солипсисты, но не в смысле Беркли. Нам трудно прорваться к «вещам в себе», но не сквозь стену ощущений, а сквозь стену чувств, мыслей, желаний, настроений.

Богатейшая коллекция этих чувств и настроений – искусство, и нет ничего удивительного в том, что пробуждение вкуса к реальности во многом отбивает вкус к искусству, к эстетическому восприятию действительности. Даже музыка кажется чересчур искусственной, субъективной, сделанной. Как будто в ней сконцентрировалось все «человеческое, слишком человеческое». Однако и восприятие музыки может быть разным, здесь есть полезная аналогия, которая мне помогает. Что я помню из студенческих впечатлений в консерватории? Общий подъем, волнение, энтузиазм, чувство приобщения к чему-то высокому, священному. Помню все, что связано с музыкой. Не помню – почти не помню – саму музыку. И это не случайно. До музыки дело, как правило, не доходило. Начинаешь слушать вроде бы внимательно, но потом незаметно переключаешься на разглядывание музыкантов и дирижера, всплывают какие-то ассоциации, воспоминания, мысли. Иногда музыке удается прорваться сквозь этот заслон, и тогда испытываешь нервный подъем, радость, экстаз, комок в горле, – испытываешь звучание эмоций, вызываемых музыкой, но не звучание самой музыки. Музыка выдавливает из тебя сироп радости (или грусти), и этот сироп забивает вкус самой музыки. Многим ли слушателям удается прорваться сквозь этот сироп к самой музыке, раствориться в ней? Не «наслаждаться» музыкой, не «получить удовольствие», а слиться с музыкой, стать музыкой, умирать и рождаться с каждым звуком?

Так же и с музыкой мира. Мы не слышим ее. Симфония действительности не проникает сквозь стену наших чувств, мыслей, забот, радостей и огорчений. Любование закатом или наслаждение пением соловья – тот же сироп. Смакуя красивое или редкостное, мы лишь массируем собственные «центры удовольствия» в мозгу. Между полюсами эстетического и экзотического остается огром-

ная ничейная земля, никем не освоенная, никому не ведомая. Мы любуемся красивым камнем и удивляемся редкому камню, но кто знает силу обычного камня, не приносящего ни наслаждения, ни изумления, но заполняющего душу и насыщающего ее? И кто может выразить состояния, чувства – ощущения человека, слившегося с безымянностью камня, растворившегося в нем, пережившего все, что таится в каменной его глуби? Но эта невыразимость начинается уже в пределах искусства. Что может сказать поклонник Баха о собственном восприятии его музыки? Ничего, кроме заведомо тривиального или смутно метафорического. В нашем языке есть наименования лишь самых банальных чувств и ощущений. И практически нет названий для состояний, которые находятся где-то между ощущениями и чувствами. Для чувств-ощущений, заключенных в музыке Баха, шуме прибоя, весенней капели или звучании тишины.

Обычная номенклатура чувств – те же пресловутые семь цветов радуги, которых вовсе не семь. Это семь карандашей в школьном пенале. Привычная схема, кажущаяся единственной и неизбежной. Каждый божий день я начинаю с попытки сломать эту схему, этот привычный шаблон, разучиться стандартным пяти-шести чувствам, увидеть мир необычным взором, испытать хотя бы одно неизведанное состояние – чувство – ощущение. И если это не удается, – день прошел впустую, мотор сердца работал на холостом ходу, приближая меня к смерти. Иногда я напоминаю себе ребенка, не признававшего несладкой пищи, пока смертельная болезнь не изменила его вкусовые ощущения. И вот сладкое кажется противноприторным, и с жадностью поглощаешь обыкновенный черный хлеб, в котором ничего нет, и есть все, который насыщает и не приедается. Почему так быстро приедается жизнь? Не упускаем ли в ней хлеб насущный, гоняясь за сладким и избегая горького?

* * *

Пролистывая Гартмана, наткнулся на упоминание о древнем брамине, настолько изумившемся растению, ловящему насекомых, что не отошел от него до самой смерти, не принимая пищи и питья. Отличная карикатура на мое «открытие мира»! Тем более что непритязательные растения, меня гипнотизирующие, и мух-то не ловят. Я пребываю в странном положении человека, внезапно обретшего то, что всегда было рядом, под рукой. Не безумен ли я?

Не является ли обостренное восприятие реальности следствием ненормального состояния психики? Из камеры смертника божий мир смотрится иначе, чем из окна квартиры. Но что здесь норма и что – патология? Порой кажется безумием вся моя прошлая жизнь, порой – теперешнее мое состояние. Обрёл я чувство реальности или утратил его? Выздоравливаю или заболеваю?

«Это мудрое безумье!
Обезумевшая мудрость!
Вздох предсмертный, так внезапно
Превращающийся в хохот!»

Строки Гейне, напомнившие о призыве ницшевского Заратустры «заставить сверкать свое безумие, чтобы посмеяться над мудростью своей». Ницше спокойно констатировал, что безумие единиц – исключение, а безумие целых групп, партий, народов, времен – правило. Если б я мог забыть, как умер он сам! Конечно, Ницше не первым поставил человечеству диагноз безумия. Уже Демокрит заслужил прозвище Смехача, – постоянно смеялся над всеми и уверял, что они сумасшедшие. Но разве Гиппократ не заподозрил самого Демокрита в безумии? И разве родные Толстого не пытались доказать невменяемость старца, неустанно обличавшего «торжествующее самоуверенное безумие окружающей жизни»?

Пусть эти максималисты были обмануты собственной гордыней. Но разве не вторят им люди, ставшие символом умеренности, рассудительности, философского бесстрастия? У лирического героя Рембо «были дни, когда любой человек действия казался ему игрушкой гротескного бреда, и тогда он долго смеялся чудовищным смехом». Но кто не объявит самого героя «Одного лета в аду» – как и его автора – игрушкой гротескного бреда? А ведь мягкий, спокойный и умеренный Эпикур давным-давно утверждал то же самое: «У большинства людей спокойствие есть оцепенение, а действие – безумие». И если Ларошфуко – олицетворение здравого смысла – впадает в преувеличение, называя человеческую любовь горячкой, то что же сказать о шекспировском уравнении всей жизни человека с горячечным припадком?

«Теперь Дункан спокойно спит в гробу.
Прошел горячечный припадок жизни».

И это по-шекспировски легко, мимоходом, как нечто очевидное и всем известное! А наблюдение безумца Ницше о ценности болезни? Разве не похоже оно на констатацию общеизвестного факта? «Человек, который болен и лежит в постели, приходит иногда к заключению, что обычно он болен своей службой, занятием или своим обществом и из-за этой болезни потерял всякую рассудительность...»

Описывая «животное состояние» современного человечества, Ницше словно глазом инопланетянина отмечает «чудовищную подвижность людей в великой земной пустыне, их созидание городов и государств, их ведение войн, их неустанное схождение и расхождение, их беспорядочную беготню, их взаимное подражание, их умение перехитрить и уничтожить друг друга, их крик в нужде, их радостный рев в победе», и кто знает, не усомнились бы инопланетяне в нашем психическом здоровье, узрев эту картину маниакальной одержимости? И разве не прозвучал из самой гущи этого муравейника тихий задумчивый голос Лихтенберга: «Поистине не знаешь, не сидишь ли ты теперь в сумасшедшем доме?» «Так как каждый человек может сойти с ума, то я не вижу оснований, почему это не может случиться и с целой мировой системой». «Из безумия людей, заключенных в Бедлам, можно бы, пожалуй, сделать более глубокие выводы о том, что такое человек».

В книге Ларошфуко я наткнулся на замечательный афоризм: «Даже самые разумные люди разумны лишь в несущественном; в делах значительных разум обычно им изменяет». Сразу вспомнился мелочный логический педантизм шизофреников и параноиков. Не здесь ли ключ к парадоксальному сочетанию разума и безумия в человеке? Альберт Эллис в книге «Разум и эмоции» отмечает, что «психопатические индивиды блестяще избегают рассмотрения основных своих проблем и уклоняются от принятия крупномасштабного взгляда на жизнь». Разве это не диагноз общей нашей человеческой патологии?

Господи, да какая разница, был я безумцем раньше или становлюсь им теперь! У меня уже есть диагноз, и вполне достаточный. Добавив к нему еще один, я ничего не меняю. Старая философская привычка к глобальным обобщениям, универсальным диагнозам, бальзамам для человечества. Наверное, у всех обреченных есть тяга к миссии спасителя... Новый мессия с чудесной заповедью: «Пойди туда, все равно куда, и увидишь то, не могу сказать, что...» Апостол Реализма Как Внутреннего Стиля Жизни... Низвергатель Идолов Эгоцентризма и Субъективизма... Воинствующий Адепт Антиискусства... Пророк Эмоциональной Революции…

Если отбросить черный юмор, остается все же мучительный вопрос, насколько теперешнее мое состояние – идиосинкразия. Не могу смириться с мыслью, что в моей – пусть гипертрофированной – тяге к реальности нет ничего общечеловеческого. Вечернее пролистывание книг и конспектов постепенно становится поиском свидетельств этого общечеловеческого. По крупицам собирается досье, – обвиняемый с упорством маньяка пытается либо отвергнуть обвинение, либо разделить его с другими представителями рода человеческого. Чем бы дитя ни тешилось...

У меня появился неожиданный помощник. Образ-символ. Образ узника в одиночке. Человека, на долгие годы приговоренного к минимуму впечатлений. Минимуму, из которого он должен выжать максимум ощущений, чувств, мыслей. Узник посажен на строжайшую диету. Диету хлеба и воды, света и теней на стене, голосов и звуков за стеной. Он впервые постигает вкус черствого хлеба и сырой воды, впервые пронизывается солнечным лучом и тонет во тьме, впервые умирает и рождается с каждым звуком. Он весь становится глазом, ухом, нервом. Его организм превращается в чувствительнейший инструмент, озвучивающий тишайшую в мире музыку – музыку бытия. Он погружается в неведомый и бездонный мир, как космонавт, заброшенный в далекую галактику.

И что потом? Отказывается вернуться в обезьянью суетню, когда узнает об амнистии? Или бродит привидением на свободе, всеми неузнаваемый, никого не узнающий? Умирает в психушке, оглушенный рыночным ревом повседневности?

Не знаю. Знаю только, что он мне нужен. Что я должен начать, как и мой Узник, с нуля. И вместе с ним продвигаться дальше, выжимая максимум из минимума, громчайшее из тишайшего, все из ничего. Душевное несварение последних дней связано, видимо, с избытком впечатлений. С жадностью новичка я заглатываю больше реальности, чем могу переварить. Значит, первый ориентир – минимализм. Строгая диета, аскетизм впечатлений. Движение вглубь, а не вширь...

«Представьте острог, кандалы, неволю, долгие грустные годы впереди, жизнь, однообразную, как водяная капель в хмурый, осенний день... Вот эти годы, в сущности, один на другой так похожие, проходили вяло, тоскливо. Помню, что эти долгие, скучные дни были так однообразны, точно вода после дождя капала с крыши по капле».

(Ф.М. Достоевский)

«Здесь же, в этой темнице, где я отторгнут от общества людей, где у меня отнята даже возможность писать, где мне приходится для препровождения времени считать удары часов, пересчитывать балки на потолке и все трещины, все дырочки, просверленные древесным червем, разглядывать узоры плит на полу, забавляться бабочками и мошками, которые кружатся по комнате, проводить почти все часы дня одинаково, – я не вижу, что может хоть в малой мере ослабить давящее меня бремя скуки».

(Д. Леопарди)

«И подземелье стало вдруг
Мне милой кровлей... там все друг,
Все однодомец был мой:
Паук темничный надо мной
Там мирно ткал в моем окне;
За резвой мышью при луне
Я там подсматривать любил;
Я к цепи руку приучил;
И... столь себе неверны мы!
Когда за дверь своей тюрьмы
На волю я перешагнул –
Я о тюрьме своей вздохнул».

(Д.Г. Байрон)

«Заключите меня в скорлупу ореха, и я буду мнить себя повелителем бесконечности».

(У. Шекспир «Гамлет»)

«Нет, голубчик, из ничего ничего и не получится».

(У. Шекспир «Король Лир»)

«Иные из ничего творили нечто великое, а великое обращали в ничто».

(Ф. Рабле)

«Чувствуешь наконец потребность разделить человечество на меньшинство (минимальное меньшинство) людей, которые умеют из малого делать многое, и на большинство людей, которые из многого умеют делать малое; более того, иногда встречаешь таких волшебников навыворот, которые вместо того, чтобы создавать мир из ничего, создают из мира ничто».

(Ф. Ницше)

«Что стало со мною,
Что в сердце моем?
Как душен, как тесен
Мой угол, мой дом!
В просторы, где тучи,
Где ветер всегда, –
Туда, на вершины,
Скорее туда!»

(И.В. Гёте)

«Вся земля, вся планета – сплошное “туда”.
Как струна, дорога звонка и туга.
Все, куда бы ни ехали, только – туда,
И никто не сюда. Все – туда и туда».

(Б. Окуджава)

«Всякий путь ведет домой».

(Новалис)

«Оставайся в своем доме, тебе не хватит целой жизни, чтобы открыть все его сокровища».

(Рембрандт – молодому художнику)

«Мирские оковы и замки – вот что приелось чувствам людей. Дымки, туманы, святые – вот чего обычно жаждут люди».

(Го Си)

«Я люблю то, чего еще никогда не было».

(О. Редон)

«Каждый год отправляйтесь работать в одно и то же место, пишите одно и то же дерево».

(К. Коро – О. Редону)

«Человека не убедить, что нужно остаться дома и искать слияния с вечным океаном; нет, он непременно пустится в дальние странствия и будет выпрашивать стакан воды из источников, принадлежащих другим».

(Р.У. Эмерсон)

«Главная беда человека – в его неспособности к домоседству».

(Б. Паскаль)

«Так куда идем мы? Все туда же – домой».

(Новалис)

«Есть люди, которые просят по домам подаяние, не замечая неисчислимых богатств в собственном доме».

(Ван Янмин)

«Наш лорд показывает всем
Прекрасные владенья...
Так евнух знает свой гарем,
Не зная наслажденья».

(Р. Бернс)

«Разве ты не наблюдал, как мурлычит старушка, грызя свою корочку?»

(Телет)

«Не следует портить то, что есть, желанием того, чего нет».

(Эпикур)

«Половина – больше целого».

(Пословица древних греков)

«Приучайтесь обходиться малым. Это сближает нас с богом».

(Кратет)

«Ничего не достаточно тому, кому достаточное мало».

(Эпикур)

«Мудрец счастлив, довольствуясь немногим, а глупцу всего мало; вот почему почти все люди несчастны».

(Ф. Ларошфуко)

«Многого ищущий – многим беден».

(Гораций)

«Все излишнее есть враг необходимого».

(Ф. Ницше)

«Ни во что ставящий малое мало-помалу придет в упадок».

(Сирах)

«Склонность людей считать незначительные вещи значительными породила немало значительного».

(Г.К. Лихтенберг)

«Всё в малом».

(А. Дюма)

«В этом мире великое чаще всего проявляется в малом».

(Ф. Гельдерлин)

«Для мудреца не существует ничего великого и ничего малого... В дождевой капле заключается столько блага и искусства, что вряд ли можно было бы продать это в аптеке меньше чем за полгульдена...»

(Г.К. Лихтенберг)

«В одном мгновенье видеть вечность,
Огромный мир – в зерне песка,
В единой горсти – бесконечность
И небо – в чашечке цветка».

(У. Блейк)

«В каждой луже запах океана,
В каждом камне веянье пустынь».
(Н.С. Гумилев)

«Мне вовсе не нужно такой красоты, столькой красоты: море, горы, мирт, цветущая мимоза и т.д. С меня достаточно – одного дерева в окне, или моего вшенорского верескового холма... Я всегда любила скромные вещи: простые и пустые места, которые никому не нравятся, которые мне доверяют себе сказать – и меня – я это чувствую – любят».

(М.И. Цветаева)

«Для великих пейзажистов существуют скромные вещи, чудесные же и редкие – для маленьких. Великие явления природы и человечества должны ходатайствовать за самых мелких, посредственных, тщеславных из своих почитателей, тогда как великие художники вступаются за простые, невзрачные вещи».

(Ф. Ницше)

«Все, что золото, не блестит. Благороднейшему металлу свойственно скорее мягкое сияние».

(Ф. Ницше)

«И самый прозаичный быт полон чудесности. Чудеса отменены, а чудесность бытия стучится во все двери».

(Н. Рерих)

«Все самое малое, самое тихое, самое легкое, шелест ящерицы, какой-нибудь вздох, миг, короткое мгновение – *немногое*, вот что составляет признак лучшего счастья. Тише!»

(Ф. Ницше)

«Головокружительная симфония одного мгновения тишины! В ней заключено гораздо больше, чем содержание одной жизни».

(Р. Роллан)

«Величайшие события – это не самые шумные, а самые тихие часы наши».

(Ф. Ницше)

«Вчера вечером говорил во мне мой самый тихий час: вот имя моего самого страшного повелителя».

(Ф. Ницше)

«Ты знаешь, что тишина громче грома.
Ты знаешь, в тишине приходящий и
уводящий».
(Н. Рерих)

«Склоняясь без пути пустынным краем,
Ты затеряешься в дали пустой.
Достаточно ль знаком ты с пустотой?»
(И.В. Гёте)

«Могу ль забыть, как глаз обрел
Нежданное прозренье?
Как дух в глухих песках нашел
Источник вдохновенья?»
(И.В. Гёте)

«С людьми имел я слабое общенье,
Но у меня была иная радость,
Иная страсть: Пустыня...
Я созерцал с заката до рассвета
Теченье звезд, я жадными очами,
До слепоты, ловил блистанье молний
Иль по часам внимал напевам ветра
В осенний день, под шум поблекших листьев».
(Д.Г. Байрон)

«Я полюбил пустыню, сожженные сады,
выцветшие лавки торговцев, тепловатые напитки».
(А. Рембо)

«Уж если я что приемлю,
Так это лишь камни и землю.
На завтрак ем только скалы,
Воздух, уголь, металлы.
Голод, кружись! Приходи,
Голод великий!
И на луга приведи
Яд повилики.
Ешьте булыжников горы,
Старые камни собора,
Серых долин валуны
Ешьте в голодную пору».
(А. Рембо)

* * *

Моя «антология минимализма» опять уперлась в камень, серый камень таллинской аномалии. Отношения с ним остаются загадочными, и придется, наверное, признать, что в основном это – идиосинкразия, реакция особая и специфическая. Во всяком слу-

чае, реакция достаточно сложная, и в поисках «минимального» восприятия лучше обратиться к чистой белой стене, ясному небу, ровной поверхности воды. К одноцветной плоскости. Впрочем, небо и вода – уже не плоскость, больше, чем плоскость. Придется вернуться к стене, но не серокаменной, а чисто выбеленной и равномерно освещенной. Которую я часто «гипнотизирую» из своего любимого кресла (кто кого гипнотизирует?). Узник одиночки, конечно, упирается носом не в стерильную белизну, ему выпадают лишь освещенные солнцем квадраты.

«Видали ль вы белую стену – пустую,
пустую, пустую?
Не видели ль лестницы возле – высокой,
высокой, высокой?
Лежала там близко селедка – сухая,
сухая, сухая...»

Стишки эти (Шарля Кро) посвящены, правда, не белой стене, а сушеной селедке. Но они предвосхищают унылое впечатление от голых стен в первые годы их «допуска» в архитектуру. Составляя свою антологию, я случайно наткнулся на любопытное свидетельство Фернана Леже: «В 1925 году была осуществлена революция “белой стены”. До этого кружева, шифоны, занавеси, обои, да еще какие! – и вдруг белые стены. Люди, которые имели коллекции картин, нашли это очень хорошим. Многие другие... если даже они и принимали наружные формы здания, абсолютно не хотели жить среди целиком белых стен. Говорили, что этот аскетизм плохо действует на зрение. Эти белые стены тем не менее были чрезвычайной революцией в архитектуре! Однако все революции требуют времени».

Многие, наверное, подписались бы под признанием Редона: «Я не переношу вида чистого листа бумаги. Мне так тягостно на него смотреть, что у меня даже пропадает охота к работе». Как далеко отсюда до мандельштамовского откровения: «Чище правды свежего холста вряд ли где отыщется основа!» Пропасть эта имеет и историческое измерение. Я убедился в этом, сравнив высказывания Ренуара и Альберти, разделенные половиной тысячелетия:

«Не правда ли, живопись создана для украшения стен? Нужно поэтому, чтобы она была возможно богаче. Для меня картина, поскольку мы принуждены делать станковые картины, должна быть приятной, радостной и красивой, да – красивой! В жизни достаточно скучных вещей, не будем фабриковать еще новые».

(П.О. Ренуар)

«То, что в истории прежде всего доставляет нам наслаждение, проистекает от обилия и разнообразия изображенного. Как в кушаниях и в музыке новизна и обилие нравятся нам тем больше, чем больше они отличаются от старого и привычного, ибо душа радуется всякому обилию и разнообразию – так обилие и разнообразие нравятся нам в картине. Я скажу, что та история наиболее богата, в которой перемешаны, находясь каждый на своем месте, старики, юноши, мальчики, женщины, девочки, дети, куры, собачки, птички, лошади, скот, постройки, местности и всякого рода подобные вещи. И я буду хвалить всякое изобилие, только бы оно имело отношение к данной истории... Я хотел бы, чтобы в картине можно было видеть все рода цветов и все виды каждого рода, к великой радости и удовлетворению смотрящего».

(Л.Б. Альберти)

Преодоление «максимализма», по-видимому, имело свою историю и в музыке. Для меня здесь достаточно свидетельства Ф. Ницше: «Вагнер почти открыл, сколько магического можно совершить даже разложенной и как бы сделанной *элементарною* музыкой. Его сознание этого доходит до чего-то жуткого, как и его инстинкт полной ненужности высших законов, ненужности стиля. Довольно элементарного – звука, движения, окраски, словом, чувственности музыки».

«Довольно элементарного» – чем не лозунг минимализма? Черный квадрат Малевича 1913 г. (а затем и белый квадрат на белом фоне) – архитектурная революция «белой стены» 1925 г. – голые стены, выставленные в 1958 г. в Париже Ивом Клайном... В этих революциях смешано столько разных мотивов, лозунгов, претензий, что нелегко определить, насколько они были революциями в непосредственном восприятии, видении мира.

Малевич, во всяком случае, нередко высказывался в пользу прямой и непосредственной значимости своих квадратов, независимой от всяких ассоциаций, лозунгов и интерпретаций: «Раскрашенная плоскость есть живая реальная форма»; «Каждая форма свободна и индивидуальна. Каждая форма есть мир. Всякая живописная плоскость живее всякого лица, где торчат пара глаз и улыбка».

Но действительно ли почитатели Малевича воспринимали раскрашенную плоскость как целый мир и ощущали ее более живой, чем лицо человеческое? Пикассо подчеркивал, что «раньше, во времена импрессионистов или Сезанна, современную живопись не замечали, а когда на нее открывали глаза, то она вызывала скандал. Теперь же все, лишь бы оно не было похоже на живопись, все считается современным, и оно у всех перед глазами и, как только народилось, считается гениальным, а все остальное не су-

ществует. Как будто люди вдруг стали такими прозорливыми, что знают то, что еще рождается. На самом деле они видят так же плохо, как всегда, и даже хуже, потому что им кажется, что они научились видеть».

Серый камень, мне кажется, многому меня научил, и я способен извлечь из белой стены или черного квадрата неизмеримо больше, чем год назад. Но я не решился бы назвать это восприятие эстетическим. Оно, может быть, даже несовместимо с эстетизмом. Во времена академической карьеры я назвал бы его «экзистенциальным» или «жизненным» восприятием. Теперь – не назову никак...

* * *

Что можно извлечь из белой стены? Многое. Вытянуть по ассоциации все белые предметы, все светлые события жизни, все мысли о свете и тьме, о чистом и нечистом, о силах света и силах мрака, о нравственной чистоте и житейской грязи, о нетленности добра...

Но все это – уже не белая стена. Самое трудное, что можно извлечь (подчас невозможно извлечь) из белой стены – это саму белую стену. Без метафор и ассоциаций, без рефлексий и отступлений, без эмоций и настроений. Самое трудное – пропустить в себя белизну. Пропустить сквозь заслон мыслей, слов, чувств, образов. Сквозь боязнь утраты своего Я, сквозь страх раствориться в белизне без остатка, безоглядно, безответно, бесследно, без надежды в себя любимого вернуться. Уйти как в омут, как в пропасть, как в неизвестность.

Не переселиться в белую стену, не перевоплотиться в нее, не почувствовать себя белой стеной, не ощутить себя на ее месте, а умереть в белой стене, исчезнуть перед белой стеной. Чтобы в мире не осталось ничего, кроме белой стены. Чтобы не было тебя, созерцающего белую стену. Чтобы была только она, не ты на ее месте, не твое восприятие, а она сама.

Белизна начинает существовать, жить, звучать, только когда ты начинаешь исчезать. Вдвоем вам не выжить. Или ты жив, и она мертва, или ты мертв, и она жива. Третьего не дано. Между тобой и белой стеной стоишь ты сам. Это абсурд, и это ясно как белый день (как белая стена).

Скинуть самого себя с плеч, очистить психику от навязчивых мыслей, чувств, образов, воспоминаний, сознательных (и под-

сознательных?) надежд и страхов, маний и фобий, создать в ней ту чистоту и пустоту, в которую могла бы проникнуть белизна. Без вакуума белизну в тебя не затянет. Без него белизна в тебя не прорвется и тебя не растворит.

Но что именно произойдет, когда она тебя растворит? Какое чудо произойдет с белой стеной? Никакого, кроме нее самой. Чудо белой стены, и ничего более. Чудо растворения в белизне, чистоте – свете. Чудо перемещения в неведомый мир – мир белизны. В этом вся несказанность, невыразимость события. В сущности, мы никогда в жизни не видим белую стену. Мы слепы. И если кто-то увидит, что сможет он сказать остальным? Что можно сказать дальтонику о цвете, которого он не ощущает? Что может рассказать прозревший слепым от рождения? Конечно, прозревший ощущает подъем, радость, экстаз. Но ценность прозрения не в этом, а в самом прозрении.

Что находят люди в белизне снегов Антарктиды? Ничего, кроме самой белизны. Они пропитываются белизной в течение долгих дней, недель, месяцев. Белая пустыня затягивает их, поглощает, они пропитываются светом от пят до макушки, становятся частью этого белого безмолвия, погружаются в неведомый мир, о котором не могут сказать, вернувшись домой, ничего, кроме одного слова: «Белизна». Но слово это ничего не говорит тем, кто в этой белизне не тонул. Для них это слово пусто. Или значимо, но лишь по ассоциации. Ассоциации, которая может привести – при таланте воображения – как к ужасу, так и к восторгу. Но она уводит от самой белизны.

* * *

«Хотя в природе белизна часто умножает и облагораживает красоту, словно одаряя ее своими собственными особыми достоинствами, как мы это видим на примере мрамора, японских камелий и жемчуга; и хотя многие народы, так или иначе, отдают должное царственному превосходству этого цвета, ведь даже древние варварские короли великого Пегу помещали титул “Владыка Белых Слонов” над всеми прочими велеречивыми описаниями своего могущества, а у современных королей Сиама это же белоснежное четвероногое запечатлено на королевском штандарте, а на Ганноверском знамени имеется изображение белоснежного скакуна, в то время как и великая Австрийская империя, наследница всевластного Рима, избрала для своего имперского знамени все тот же величественный цвет; и хотя, помимо всего, белый цвет был признан даже цветом радости, ибо у римлян белым камнем отмечались праздничные дни; и хотя по всем остальным человеческим по-

нятиям и ассоциациям белизна символизирует множество трогательных и благородных вещей – невинность невест и мягкосердие старости; хотя у краснокожих в Америке пожалование белого пояса-вампума считалось великой честью; хотя во многих странах белый цвет горностая в судейском облачении является эмблемой правосудия и он же в виде молочно-белого коня поддерживает в каждодневности величие королей и королев; хотя в высочайших таинствах возвышеннейших религий белый цвет всегда считался символом божественной непорочности и силы – у персидских огнепоклонников белое раздвоенное пламя на алтаре почиталось превыше всего, а в греческой мифологии сам великий Зевс принимал образ белоснежного быка; и хотя у благородных ирокезов принесение в жертву священной Белой Собаки в разгар зимы рассматривалось, согласно их теологии, как самый торжественный праздник, а это белейшее, преданнейшее существо считалось наиболее достойным посланцем для встречи с Великим Духом, которому они ежегодно посылали донесения о своей неизменной преданности; и хотя христианские священники позаимствовали латинское слово “albus” – белый, для обозначения стихаря – некоторой части своего священного облачения, надеваемой под рясу; хотя среди божественного великолепия римской церкви белый цвет особенно часто используется при прославлении страстей господних; хотя в Откровении Святого Иоанна праведники наделены белыми одеждами, и двадцать четыре старца, облаченные в белое, стоят перед великим белым престолом, на котором восседает Владыка Святый и Истинный, белый, как белая волна, как снег – все-таки, несмотря на эти совокупные ассоциации со всем что ни есть хорошего, возвышенного и благородного, в самой идее белизны таится нечто неуловимое, но более жуткое, чем в зловещем красном цвете крови.

Именно из-за этого неуловимого свойства белизна, лишенная перечисленных приятных ассоциаций и соотнесенная с предметом и без того ужасным, усугубляет до крайней степени его жуткие качества. Взгляните на белого полярного медведя или на белую тропическую акулу; что иное, если не ровный белоснежный цвет, делает их столь непередаваемо страшными? Мертвенная белизна придает торжествующе-плотоядному облику этих бессловесных тварей ту омерзительную вкрадчивость, которая вызывает еще больше отвращения, чем ужаса. Вот почему даже свирепозубый тигр в своем геральдическом облачении не может так пошатнуть человеческую храбрость, как медведь или акула в белоснежных покровах.

Или вот альбатрос – откуда берутся все тучи душевного недоумения и бледного ужаса, среди которых парит этот белый призрак, в представлении каждого?..

Что так отталкивает нас во внешности альбиноса и делает его порой отвратительным – даже в глазах собственных родных и близких? Сама та белизна, которая облачает его и дарит ему имя...

Ничто не внушает нам при взгляде на покойника такого ужаса, как его мраморная бледность... У самого царя ужасов, описанного евангелистом, под седлом – конь блед...

Белизна является многозначительным символом духовного начала и даже истинным покровом самого христианского божества и в то же время служит усугублению ужаса во всем, что устрашает род человеческий».

(«Моби Дик» Г. Мелвилла.
Из главы *«О белизне Кита»*)

* * *

Переписал эту поэму, чтобы проникнуться ее пафосом. И все же осталась какая-то «обида» за белизну. Неужели сама по себе она ничего не стоит? Значима лишь как символ, эмблема, заместитель чего-то другого – красивого, возвышенного, невинного, ужасного, мертвого, потустороннего? Как суррогат тысячи вещей, посредник, сигнал, метка, бирка? Тысячи вещей, сводящихся, в сущности, к двум простым – радости и печали, плюсу и минусу, ах и ох. Не стал ли весь мир для нас лишь символом, набором знаков для ах и ох, для всего, что может нас усладить или ужаснуть? Солипсизм, в котором вещи – не комплексы ощущений, а знаки сладкого и горького, радости и боли. Которые – в свою очередь – лишь знаки нашего выживания или гибели. Я, превратившее весь мир в шифр собственного выживания или гибели. В информацию о себе любимом, в прогноз успеха или поражения, в шифровку спасения или приговора. В огромный текст о человеческом Я, заслонившем весь мир.

И расколдовать этот заколдованный мир так же трудно, как разучиться понимать родную речь. Воспринимать ее как чистое звучание, лишенное смысла. Отскоблить слова от значений. Вещи – от символов и ассоциаций. Отмыть вселенную от сиропа предвкушений и уксуса опасений. Чтобы ощутить подлинный вкус вещей. Перейти на сторону вещей, дезертировать из самих себя. Переход от субъекта к объекту. От субъективизма к объективизму. Пробуждение от субъективного бреда желаний, надежд, радостей, огорчений.

* * *

«Наше бодрствование более слепо, чем сон... Самое худшее место, в котором мы можем находиться, это мы сами».

(М. Монтень)

«Я просыпаюсь. Я объят
Открывшимся. Я на учете.
Я на земле, где вы живете
И ваши тополя кипят».

(Б.Л. Пастернак)

«Но вы идите – смело в мир огромный,
В великолепье, в роскошь бытия!»

(И.В. Гете)

«Мир – глубина; он глубже, чем думает день».
(Ф. Ницше)

«И не присутствие ль вселенной
Незримо явно возле нас?
Так вот, воспрянь в ее соседстве,
Почувствуй на ее свету
Существованья полноту».
(И.В. Гёте)

«Мир существует, и это очевидно; я хотел бы знать только, кому от этого какая польза».
(А. Шопенгауэр)

«Мне нечего делать во внешнем».
(Я. Рейсбрук)

«Для меня – как существовало бы для меня что-нибудь вне меня? Нет ничего вне нас!»
(Ф. Ницше)

«С самого начала своего существования человек представляет зрелище для самого себя. Фактически он уже десятки веков смотрит лишь на себя».
(П. Тейяр де Шарден)

* * *

«Во всем при всем человек ближайшим образом наслаждается только собою самим – это справедливо уже относительно наслаждений физических, а еще в гораздо большей мере относительно духовных. Вот почему надо признать очень удачным английское выражение “to enjoy one’s self”, когда, например, говорят “he enjoys himself at Paris”, “он наслаждается собой в Париже”, а не “er geniesst Paris”, как по-немецки».
(А. Шопенгауэр)

«Ищите в самих себе, и вы найдете все. Радуйтесь, если там снаружи, – как бы это ни называли, – лежит природа, утверждающая и благословляющая все то, что вы нашли в самих себе».
(И.В. Гёте)

«Познай себя...
Какая польза в том?
Познаю,
А куда бежать потом?»
(И.В. Гёте)

«Люди обычно разглядывают друг друга, я же устремляю мой взгляд внутрь себя; я его погружаю туда, там я всячески тешу его. Всякий всматривается в то, что перед ним; я же всматриваюсь в себя. Я имею дело только с собой; я беспрерывно созерцаю себя, проверяю, испытываю... я верчусь внутри себя самого».

(М. Монтень)

«Хуже всего то, что я при моей болезни совершенно не мыслю и не чувствую вещей без того, чтобы не чувствовать при этом преимущественно себя».

(Г.К. Лихтенберг)

«Болезнь нашего времени – это чувство, что ты отрезан от реального. Словно какая-то перегородка выросла между человеком и природой, человеком и другими людьми, человеком и его личностью».

(Р.П. Уоррен)

«Мало любящих действительную жизнь, мало влюбленных в окружающую их реальность».

(Э.А. Бурдель)

«Мое Я для меня всего дороже!»

(М. Штирнер)

«Любовь к себе моим владеет взором.
Она проникла в кровь мою и плоть.
И есть ли средство на земле, которым
Я эту слабость мог бы побороть?»

(У. Шекспир)

«Когда мы потеряли себя, все для нас потеряно».

(И.В. Гёте)

«Вы никогда не оторветесь от себя и не стряхнете себя со своих плеч!»

(Ф. Ницше)

«Чувство “я” есть причина всех человеческих несчастий».

(Рамакришна)

«В конце концов мы переживаем только самих себя».

(Ф. Ницше)

«Нам дарует радость не то, что нас окружает, а наше отношение к окружающему».

(Ф. Ларошфуко)

«Я не растрачиваю попусту своих ощущений, но вкладываю в них душу не для того, чтобы погружаться в эти ощущения до конца, но чтобы радость моя была полнее, не для того, чтобы раствориться в них, а для того, чтобы найти себя».

(М. Монтень)

«Удовлетворяя ваше самолюбие, вы лишитесь истинных наслаждений созерцания; жизнь – сущность жизни – ускользает от вашего мелкого и желчного наблюдения, и вы кончите тем, что будете лаяться и смешить».

(И.С. Тургенев)

«Считай себя блаженным, когда сам станешь источником всех своих радостей».

(Сенека)

«Мне во многих отношениях чрезвычайно нравится испанская поговорка: “defenda me dios de mi” (“защити меня, господи, от меня самого”)».

(М. Монтень)

«Пойми, пойми, все тайны в нас,
В нас сумрак и рассвет».
(В.Я. Брюсов)

«Я – бог таинственного мира,
Весь мир – в одних моих мечтах».
(Ф.К. Сологуб)

«Ты – это только ты,
Не что иное».
(И.В. Гёте)

«Всегда в том же обществе. – Всё, что однородно со мною, в природе и истории, обращается с речью ко мне, восхваляет меня, влечет дальше меня, утешает меня: – ничего другого я не слышу или тотчас забываю. Мы всегда – в своем собственном обществе».

(Ф. Ницше)

«Поднимитесь на гору или спуститесь в деревню, отправьтесь на конец света или прогуляйтесь вокруг своего дома, вы на всех путях случая встретите только себя самого».

(М. Метерлинк)

«Все несчастие, беспокойство происходят от того чувства – “я”, “мне”, “я делаю это”, “это мне принадлежит”».

(Рамакришна)

«Личность является абсолютом, имеющим свою жизненную цель и задачу в самом себе».

(С. Кьеркегор)

«Ты взвешен на весах
И найден очень легким».
(Пророк Даниил)

«Если бы каждый человек не имел столь преувеличенного интереса к самому себе, то жизнь была бы так не интересна, что никто не вынес бы ее».

(А. Шопенгауэр)

«Если бы люди твердо держались одной реальности и не поддавались обману, жизнь, по сравнению с нынешней, могла бы стать Сказкой Тысяча и одной ночи».

(Г. Торо)

* * *

Я опять потонул в цитатах – их подбор и нанизывание успокаивает меня, как других успокаивает вязание, выпиливание, рыбная ловля. Участившиеся боли задают нервный фон, и цитатничество служит психотерапией (трудотерапией). К тому же я инстинктивно убегаю от тяжелой проблемы – Проблемы Узника. Растворение в белизне снега, голубизне неба, синеве моря, зелени лугов выглядит делом вполне естественным, – эти пространства нередко сами окружают, пронизывают и растворяют человека. Правда, это растворение может стать подлинным событием лишь для чистой, незамутненной психики. Но кто же не испытывал очищающего действия солнечного света, зелени лугов, синевы озер? Здесь половину «катарсиса» берет на себя сам объект, отвоевывая и расчищая пространство в психике, вытесняя и заглушая субъекта. А каково узнику, видящему лишь грязные стены, кусочки облаков за решеткой, редкий луч солнца? И вместо пения птиц и шума прибоя слышащему лишь шарканье сапог часовых и грызню крыс? Болезнь все чаще превращает меня в узника, выбираться на волю все труднее. Обыденные вещи окружают со всех сторон, обыденные звуки переполняют уши. Этой тысяче мелочей я предпочел бы изгнание в пустыню (излечившую А. Рембо от Парижа, честолюбия и стихов). Или заточение в батискафе на такой глубине, где нет ни водорослей, ни рыб, только бесконечные оттенки синевы за стеклом от восхода до захода солнца. Или снежное безмолвие полярной станции.

Но пестрота и мелочевка обыденных впечатлений... Или грязные пятна на стенах тюремной камеры... Дело не в возвышенном – низменном, значительном – незначительном, экзотическом – тривиальном. Для меня проблема именно в мелкоте и пестроте. По буддийскому преданию, одна принцесса достигла «просветления», созерцая копошение навозных червей. Наверное, отвратительное это зрелище вызвало глубочайший обморок обычных чувств, ус-

тупивших чувствам трансцендентным. Но мне не нужна трансценденция. Мой удел – посюстороннее. Моя медитация – цель, а не средство. «Посюсторонняя» медитация. Без обмороков, трансов, экстазов. Слияние с реальностью, а не бегство от нее в мистические глуби или выси.

Созерцание червей, можно, конечно, оставить принцессам… Как и все исключительные вещи – исключительно красивые, исключительно уродливые. Основная проблема – не в крайностях, а в середине. Не золотой, а серой, ничем не примечательной середине. Самых простых обыденных вещах.

«Вот серый крот,
Вот серый крот,
Вот серый-серый-серый крот.
Он не красавец,
Не урод,
Он просто серый-серый крот».
(И. Токмакова)

Что ж делать, – не все серое действует на меня с такой силой, как серая каменная стена, с которой все началось. При любом бегстве от субъективности индивидуальность сохранится. Самый утонченный из эстетов, Марсель Пруст, отмечал необъяснимое действие на него обыкновенного куста боярышника. «Однако я напрасно останавливался перед боярышником, чтобы вобрать в себя этот незримый, особенный запах, чтобы попытаться осмыслить его, – хотя моя мысль не знала, что с ним делать, – чтобы утратить его, чтобы вновь обрести, чтобы слиться с тем ритмом, что там и сям разбрасывал цветы боярышника с юношеской легкостью, через неожиданные промежутки, как неожиданны бывают иные музыкальные интервалы, – цветы с неиссякаемою щедростью, неустанно одаряли меня своим очарованием, но не давали мне углубиться в него, подобно мелодиям, которые проигрываешь сто раз подряд, так и не приблизившись к постижению их тайны. Я отходил от них – и снова со свежими силами начинал наступление... Я напрасно делал из своих рук экран, чтобы перед моими глазами был только боярышник: чувство, какое он пробуждал во мне, оставалось смутным и неопределенным, и оно тщетно пыталось высвободиться и слиться с цветами. Цветы боярышника не проливали света на мое чувство, а другие цветы не насыщали его... Я часто мечтал увидеться с кем-нибудь, не давая себе отчета, что моя мечта вызвана только тем, что этот человек напомнил мне

боярышник, и я уверял себя и других, что во мне заговорила былая привязанность, тогда как мне просто хотелось туда съездить».

Не приходится удивляться, что предметом первого литературного опыта Пруста стал не боярышник – абсолютно ни с чем не сравнимый – а колокольни, напомнившие сначала птиц, стоящих в поле, затем три цветка, как бы нарисованные на небе, и, наконец, трех девушек из сказки, которых застигла ночь в безлюдном месте. Первоначальное впечатление от озаренных лучами заходящего солнца колоколен сам Пруст связывает с «…особым, ни с чем не сравнимым наслаждением». Литературные сравнения не опровергли эту несравнимость, но смягчили муку невыразимости. «Я был далек от мысли, что таившееся за мартенвильскими колокольнями может найти себе некое соответствие в изящной фразе», – тем не менее, – «когда кончил писать, я почувствовал, что я счастлив, что эта запись сбросила с меня всю тяжесть колоколен и того, что таилось за ними, я был подобен курице, снесшей яйцо, и я запел во все горло».

В сущности, сравнение колоколен с чем-то другим – птицами, девушками, цветами – есть бегство от колоколен, их собственной значимости, попытка подменить их чем-то другим, подставить суррогат вместо подлинника. Сравнения, эпитеты, метафоры – не постижение предмета, а бегство от него. В лучшем случае – бег вокруг него. Вокруг да около, минуя суть, которая остается несравнимой и невыразимой. Искусство как бегство от реальности, ее неповторимости и несказанности. Искусство как трусость, слабость, неспособность выстоять перед действительностью как она есть. Воспринять предмет в полную силу его собственного звучания, не прячась за другие предметы под предлогом сравнений, метафор, ассоциаций.

* * *

«В себе одном весь мир огромный чуя,
Ни выразить, ни скрыть то чувство не могу я».
(Д.Г. Байрон)

«Как мир мне дорог, как впервые полон,
Влекущ, доподлинен, неизглаголан!»
(И.В. Гёте)

«Но роза всегда и везде невозможна,
Никто соловья постигнуть не мог».
(И.В. Гёте)

«В искусстве самое ценное то, что необъяснимо».
(Ж. Брак)

«Я писал молчание и ночь, выражал невыразимое, запечатлевал головокружительные мгновения».
(А. Рембо)

«Дерево, которое шумит, и вереск, который растет, для меня великая история, которая не меняется; если я буду говорить их языком, я буду говорить на языке всех времен».
(Т. Руссо)

«Все великие мастера почувствовали природу, все они пережили высшую степень того особого магнетизма, того сокровенного общения между человеком и природой, которое устанавливается, когда он поддается ее красноречивому молчанию».
(Поль Юэ)

«Говорить – это прекрасное неразумие: словами человек танцует по поверхности всех вещей».
(Ф. Ницше)

«Наши подлинные переживания совершенно не болтливы. Они не могли бы рассказать о себе, если бы хотели. Это происходит оттого, что они лишены слова. Для чего у нас есть слова, с тем мы уже и покончили. Во всяком говорении есть гран презрения. Речь, по-видимому, изобретена для среднего, посредственного, сообщаемого. Ею уже вульгаризируется говорящий».
(Ф. Ницше)

«Горе нам, если мы носим в себе лишь то, что можем выразить и показать».
(Т. Карлейль)

* * *

«Величайшие люди наши, именно потому, что они по природе тишайшие, вероятно те, что навсегда остаются безвестными». Эта фраза Карлейля (он ссылается на Фихте) навела меня на мысль, что и предшественники мои, решившие Проблему Узника, могли утратить всякий интерес к устному и письменному языку, уйти в океан молчания, как отшельники – в пустыню. Лишь моя задержка на полпути, моя низкая одаренность к созерцанию позволяют что-то писать. Достигшие высшего уровня, набравшие,

как говаривал Лихтенберг, «достаточный материал для молчания», уже не вернулись в суету говорения.

«Молчание, великий океан молчания: он подымается выше звезд; он глубже, чем царство смерти! Он один только велик; все же прочее мало и незначительно».

(Т. Карлейль)

* * *

Проблема несказанного и безымянного все чаще выступает передо мной как проблема неузнавания. Теперь я почти что узник, и облака для меня, как и для него – богатейший источник впечатлений, ни с чем несравнимых. И любое сравнение, любое узнавание становится проклятием.

Вчера наблюдал контраст двух облаков, плотного и четко очерченного с расплывчатым, прозрачным, неуловимым. И когда ветер преобразил их в контуры мужской и женской головы, не испытал ни малейшей радости по поводу такого чудесного превращения. Ибо оказался в силках знакомого, привычного, тривиального, и уже не мог из них выпутаться. День был испорчен. Как приговоренный, я узнавал в облаках головы, руки, ноги, деревья, столы, черепах и бабочек. Не мог не узнавать. Не мог не сводить неизвестного к известному, незнакомого к знакомому, нестандартного к стандартному. И родилась дерзкая мысль, невероятная гордыня отмщения – не узнавать все эти обыденные предметы не только в облаках, но и в них самих. Превратить их в облака – неузнаваемые предметы особого рода. Перестать опознавать дерево в дереве, птицу в птице, ладонь в ладони. Перестать пришпиливать вещи словами, как бабочку булавкой.

«Быть может, мы здесь для того,
Чтобы сказать: “колодец”, “ворота”, “дерево”, “дом”, “окно”.
Самое большее: “башня” или “колонна”,
Чтобы, сказав, подсказать вещам сокровенную сущность,
Неизвестную им».

(Р.М. Рильке)

Но сущности ли это и сокровенны ли они? Не средство ли все сделать поверхностным, усредненным, типовым и бесцветным?

«Я больше не говорил цветку: “Ты брат мне!” и ручьям: “Мы с вами одного племени!” Теперь я добросовестно, словно эхо, называл каждую вещь данным ей именем. Обесцвеченный мир проносился мимо меня, как река вдоль пустынных берегов, где даже листик ивы не отразится в воде».

(Ф. Гельдерлин)

«Быть может, неподвижность окружающих нас предметов внушена им нашей уверенностью, что это именно они, а не какие-нибудь другие предметы, неподвижностью того, что мы о них думаем».

(М. Пруст)

«Морской лев не знает, что он – морской лев. Ему наплевать, морской лев он или улитка».

(Ж. Превер)

«Каждое слово есть предрассудок».

(Ф. Ницше)

«Скажи, где в нас гнездятся имена?
Я уничтожу это помещенье».

(У. Шекспир)

* * *

Чтобы уничтожить это помещенье, Шекспиру пришлось бы, пожалуй, пожертвовать левым полушарием мозга, которое заведует переработкой словесной информации. Несчастные (счастливейшие?) больные с повреждениями или пониженной активацией этого полушария вновь обретают свежесть, остроту и непосредственность восприятия, утраченную в далеком детстве. Открытие мира ребенком довольно скоро сменяется его закрытием. Стиранием, клишированием, упрощением. Мир должен быть заглушен, чтобы повзрослевший ребенок мог в нем действовать. Вещи не должны разрывать глаз и нерв своей первобытной силой. Их нужно заменить суррогатами – стертыми штампованными образами, ассоциированными со словами. Драгоценные камни вещей заменить стертыми пятаками слов.

Вопрос «что это?», обращенный к ребенку, означает замену восприятия узнаванием. То есть подведением единичного под общее, индивидуального под типичное, неповторимого под повторяющееся, изумительного под банальное. Узнавание – не начало, а конец познания. Сведение нового к старому, незнакомого к знакомому. Банализация мира. И взрослый начинает познавать и вос-

принимать лишь там, где перестает узнавать. Путник скользит глазом по тысяче предметов и начинает разглядывать лишь то, что трудно опознать. Куст или человек? Пар или дым? Гора или облако? Там, где нечего опознавать – в пустыне песков, пустыне снегов, пустыне океана, – путник тоскует, пока не узрит что-нибудь именуемое: пальму, ящерицу, остров. Он предпочтет банальный лубочный мираж из узнаваемых предметов бесконечному богатству линий и красок пустыни. Он скользнет скучающим взором по тысяче облаков – изумительных, загадочных, неповторимых – и будет долго разглядывать облако, в очертаниях которого можно узнать дерево, руку или птицу. С воображением поэта – гораздо больше:

«холм или храм,
профиль Толстого,
Рим, холостого
логова хлам,
тающий воск,
Старая Вена,
одновременно
айсберг и мозг,
райский анфас –
ах, кроме ветра
нет геометра
в мире для вас!
...Пенный каскад
ангелов, бальных
платьев крахмальных
крах баррикад,
брак мотылька
и гималаев,
альп, разгуляев –
о, облака...»

В юности я отдал бы полжизни, лишь бы научиться – вместе с Бродским – видеть все это в облаках. Сейчас – отдал бы половину отмеренных мне дней, лишь бы научиться не видеть в облаках ничего кроме самих облаков. Это, пожалуй, почти невозможно. Это все равно, что не узнавать обычные предметы или знакомые лица. Все равно, что воспринимать родную речь как чужую, как звучание без значения (снова и снова возвращаюсь к этой параллели). Впрочем, я давно знаком с героем, которому это удалось. Но это – герой литературный, Антуан Рокантен из «Тошноты» Сартра:

«И вдруг, разом, пелена прорывается, я понял, я УВИДЕЛ... Под скамьей, как раз там, где я сидел, в землю уходил корень каштана. Но я уже не помнил, что это корень. Слова исчезли, а с ними смысл вещей, их назначение, бледные метки, нанесенные людьми на их поверхность. Я сидел ссутулившись, опустив голову, наедине с этой темной узловатой массой в ее первозданном виде, которая пугала меня... Этот корень, узловатый, неподвижный, безымянный, зачаровывал меня, лез мне в глаза, непрестанно навязывал мне свое существование. Тщетно я повторял: "Это корень", – слова больше не действовали... Это было необычайное мгновение. Я пребывал в неподвижности, парализованный, охваченный жутким экстазом... Я БЫЛ корнем каштана. Или вернее, я весь целиком был сознанием его существования. Пока еще отдельным от него – поскольку я это сознавал – и, однако, опрокинутым в него, был им, и только им... Время остановилось маленькой черной лужицей у моих ног, ПОСЛЕ этого мгновения ничто уже не могло случиться».

Неузнавание предметов навязчиво преследует Антуана. Рука человека воспринимается как жирный белый червь, собственное лицо в зеркале предстает как воплощение какой-то непонятной органической жизни, происходящей «где-то на границе растительного мира, на уровне полипов». «Я опираюсь рукой на сиденье, но тут же отдергиваю руку – эта штуковина существует... Да это же скамейка, шепчу я, словно заклинание. Но слово остается у меня на губах: оно не хочет прилепиться к вещи. А вещь остается тем, что она есть со своим красным плюшем, который топорщит тысячу мельчайших красных лапок, стоящих торчком мертвых лапок... Вещи освободились от своих названий. Вот они, причудливые, упрямые, огромные, и глупо называть их сиденьями и вообще говорить о них что-нибудь. Я среди Вещей, среди не поддающихся наименованию вещей... Все эти предметы... как бы это сказать? Они мне мешали. Я хотел бы, чтобы они существовали не так назойливо, более скупо, более абстрактно, более сдержанно».

Этот дискомфорт доходит до тошноты – тошноты от абсурдности открывшегося ему существования. «Абсурдность – это была не мысль, родившаяся в моей голове, не звук голоса, а вот эта длинная мертвая змея у моих ног, деревянная змея. Змея или звериный коготь, корень или коготь грифа – не все ли равно... Я был уже не в Бувиле, да и нигде в другом месте, я парил. Я ничуть не удивился, я понимал, что это Мир, мир, который предстал передо мной во всей своей наготе, и я задыхался от ярости при виде этого громадного абсурдного существа... "Какая гнусность! Какая гнусность!" – закричал я и встряхнулся, стараясь освободиться от этой липучей гнусности, но справиться с ней было нелегко, ее было слишком много, тонны и тонны существований, без конца и края,

и я задыхался в глубине этой неохватной тоски... Больше я вынести не мог. Не мог вынести навязчивую близость вещей... Мне бы так хотелось расслабиться, забыться, заснуть. Но я не могу: я задыхаюсь, существование проникает в меня через все поры, через рот, через нос, через уши...»

Бегство от реальности, спасение от нее становится идеей-фикс Антуана. Мелодия саксофона в пустынном кафе помогает ему сбросить на какое-то время тяжесть существования. И герой «Тошноты» Сартра возвращается к старой доброй мысли об искусстве как очищении, творчестве как средстве «смыть с себя грех существования». «Изгнать из себя существование, избавить каждую секунду от жировых наслоений, выжать ее, высушить, самому очиститься, отвердеть, чтобы издать наконец четкий и точный звук ноты саксофона».

Аллергия на реальность? Тошнота от существования? Антуан, дорогой мой Антуан, что с тобой стряслось? Куда подевалось «очарование», «жуткий экстаз», «жестокая радость» открытия мира, обнажения существования? Казалось, ты уже понял, что нет ничего фантастичнее действительности, необычнее обыденного. Да, существование абсурдно, не укладывается в логические и эстетические схемы, да, оно невыразимо, ни на что не похоже, но почему оно вдруг стало отвратительным и тошнотворным? Не оттого ли, что ты сделал его похожим, но похожим на все уродливое? Корень – на «длинную мертвую змею», руку – на «жирный белый червь», сидение из красного плюша – на «повернутое кверху брюхо, кровоточащее и вздутое?» И ретировался в искусство, спасаясь от «чудовищных, вязких и беспорядочных масс – голых бесстыдной и жуткой наготой».

Меня, наоборот, открытие действительности заставило бежать от искусства. Тоже тошнота, но тошнота от искусственности, приторности, сделанности, нарочитости искусства...

«И вымыслов пить головизну
Тошнит, как от рыбы гнилой.
И вот я вникаю на ощупь
В доподлинной повести тьму».
(Б.Л. Пастернак)

«И тут кончается искусство,
И дышат почва и судьба».
(Б.Л. Пастернак)

«Искусство? – Это искусство, вот и все».
(П.-Ж. Беранже)

«Но и песни, и звезды, и луна,
И глазки, и солнечный свет, и весна,
Как бы ими ни полнилась грудь,
В этом мире – не вся еще суть».
(Г. Гейне)

«Силы, которыми обусловлено искусство, могут прямо-таки вымереть; любовь ко лжи, к неточному, символическому, к упоению и экстазу может стать предметом презрения».

(Ф. Ницше)

«Хватит с нас искусства. Искусство нас убивает... В картинах чем меньше искусства, тем больше живописи».

(П. Пикассо)

«Единственная неестественная вещь в мире – это произведение искусства».
(А. Жид)

«Все средства и условности искусства отныне пригодны только для пародии».
(Т. Манн)

«Суть искусства – казаться, а не быть».
(Х.Э. Пачеко)

«Искусство – это ложь».
(Валантен де Булонь)

«Только естественные вещи прекрасны, и наиболее прекрасно то, что взято из самой обыденной жизни, то, что изображает обычные происшествия, чувства и поступки каждого дня».

(Ж.-Ф. Милле)

«Жизнь вечно обновляющаяся, вечно юная, и ни один час ее не похож на другой, тогда как уныла и до пошлости однообразна пугливая фантазия, раба тени, идеи».

(Ф.М. Достоевский)

«Как прекрасна природа, мой друг; нужно попасть в марте месяце в деревню в окрестностях Парижа, чтобы убедиться во вздорности всех понятий о красоте, идеале, необходимости отбора и т.д. Обыкновенная аллея с прямыми прутьями ветвей еще без листьев, в плоской и скучной местности, говорит воображению больше, чем самые прославленные виды».

(Э. Делакруа)

«Свет – роса – ветер – цветение – и свежесть. Ни в чем этом ни один художник мира еще не преуспел».

(Д. Констебль)

«Солнце приводит меня в отчаяние. Я чувствую все бессилие своей палитры... Бывают дни, когда хочется все послать к черту».

(К. Коро)

«Будет ли у вас когда-нибудь столько света, как в природе, столько жара, как у солнца? А вы говорите о преувеличении! Но как же вы хотите преувеличивать, если вы все равно остаетесь ниже природы?»

(П. Гоген)

«Реалисты, перенося на холст живые вещи, лишают их жизни, движения. И наши академии не живописные, а мертвописные».

(К. Малевич)

«Нельзя противоречить природе. Она сильнее самого сильного человека. Все мы заинтересованы быть с ней в хороших отношениях. Мы можем себе позволить некоторые вольности, но только в мелочах».

(П. Пикассо)

«Жить без искусства и вина. С произведениями искусства бывает то же, что и с вином. Лучше всего не нуждаться ни в том, ни в другом, употреблять одну воду, и собственным внутренним огнем, и внутренней сладостью души превращать ее в вино».

(Ф. Ницше)

* * *

Эта мысль Ницше заставила меня насторожиться. Отказ от искусства – еще не отказ от эстетизации, от эстетического восприятия – преображения вещи. Огонь и сладость – не в самой вещи, а в душе моей. В воде чувствовать не воду, а вино. Преображать воду в вино собственным восприятием. Это может означать не возврат к реальности от искусства, а перенос искусства в сферу восприятия. Неприятие вещи самой по себе, воды самой по себе, не преображенной в вино. Как в цветаевском признании: «Я не люблю жизни как таковой, для меня она начинает значить, т.е. обретать смысл и вес – только преображенная, т.е. – в искусстве. Если бы меня взяли за океан – в рай – и запретили писать, я бы отказалась от океана и рая. Мне вещь *сама по себе* не нужна».

Розанов же в «Опавших листьях» записал предчувствие скорой кончины литературы: «Люди станут просто *жить*, считая смешным, и ненужным, и отвратительным литераторствовать». Вордсворт, приблизив поэтический язык к обыденному, полагал целью творчества «…сообщать очарование новизны явлениям повседневности и пробуждать разум к тому, что скользит мимо, пока мы скованы летаргией привычки». Заменив «сообщать очарование» на «раскрывать очарование», мы снова оказываемся в немом параличе Пруста перед кустом боярышника. Сам Пруст подчеркивал, что большинство мнимых толкований того, что мы ощущаем, есть не что иное, как наше «стремление отделаться» от самих впечатлений. Кажется, одни лишь японцы – в знаменитых трехстишиях «хокку» – решились представить простейшие вещи без прикрас.

«С ветки на ветку
Тихо сбегают капли...
Дождик весенний».

***

«Проталина в снегу,
А в ней – светло-лиловый
Спаржи стебелек».

***

«Старый пруд.
Прыгнула в воду лягушка.
Всплеск в тишине».

***

«Ветки азалий в горшке,
А рядом крошит сухую треску
Женщина в их тени».

В этих трехстишиях Басё не чувствуется ни малейшей попытки эстетизации. Ни эмоциональной окрашенности, ни определенного настроения, пронизывающего следующие хокку:

«На голой ветке
Ворон сидит одиноко.
Осенний вечер».

***

«Майский докучный дождь...
Обрывки цветной бумаги
На обветшалой стене».

Безыскусность стихов Басё нельзя объяснить недостатком мастерства. Ведь ему принадлежат бесспорные шедевры:

«Солнце зимнего дня.
Тень моя леденеет
У коня на спине».

***

«Сад и гора вдали
Дрогнули, движутся, входят
В летний раскрытый дом».

***

«Колокол смолк вдалеке,
Но ароматом вечерних цветов
Отзвук его плывет».

Без особых усилий поэтизировал он и сверчков, и цикад:

«Тишина кругом.
Проникает в сердце скал
Легкий звон цикад».

Но в других хокку поэтизация едва различима:

«Белый волос упал.
Под моим изголовьем
Не смолкает сверчок».

Или совершенно отсутствует:

«Ночная тишина.
Лишь за картиной на стене
Звенит-звенит сверчок».

Простейшие описания простейших вещей сменяются призывами обратить на них взор:

«Внимательно вглядись!
Цветы пастушьей сумки
Увидишь под плетнем».

Но кто же их не видел? И что именно нашел в них Басё? Узнаем ли мы когда-нибудь хоть что-нибудь об этом?

«Вечерним вьюнком
Я в плен захвачен...
Недвижно
Стою в забытьи».

Если творчество Басё – панэстетизм, то лишь в первоначальном смысле эстетического как чувствуемого, ощущаемого. Панэстетизм без эстетизации...

Многие из сочинителей хокку были людьми необычными в том отношении, что принадлежали к дзен-буддистам или испытали влияние дзен. Отсюда – хитроумные попытки исследователей приписать трехстишиям хокку сложнейшее философское содержание. Попытки выдать простейшее за сложнейшее... Какая-то связь, конечно, есть. Но может быть – психологическая, а не метафизическая? Расчищая психику для мистических озарений, дзен-буддисты расчистили ее и для озарений не мистических, для интенсивного восприятия обыденной действительности. Хокку могло быть побочным (незаконным?) дитём дзен. Скорее незаконным, чем законным. Ведь основной пафос буддизма – неприятие земной жизни и обыденной действительности. Восьмеричный путь спасения – это путь спасения от жизни, от бесконечной серии воплощений. Даже самые райские из этих воплощений объявляются тщетой и страданием...

Буддийская медитация использует земные предметы как временные подручные средства. Для упражнений в концентрации внимания. Для избавления от суетливости, рефлексии, нескончаемого внутреннего монолога. Бодхидхарма использовал созерцание стены пещеры для смирения желаний, чувств, мыслей, воспоминаний, и за девять лет тупого отрешенного созерцания стены добился и его стирания, полного очищения психики для сверхчувственного мистического созерцания. Стена в медитации Бодхидхармы – то же, что кончик носа в медитации йогина, упоминаемой в Бхагавадгите. Там восхваляется йогин, «равный к золоту, кому земли, камню, к безучастному, к противнику, стороннику, недругу, другу», но это равенство отрешенности и безразличия. В моих старых

конспектах нашлась выписка из руководства по буддийской медитации, автор которого предостерегает от использования красивых и привлекательных объектов: «И в то время, как красота создает шанс привязанности духа, непривлекательность, используемая для созерцания, ослабляет привязанность и открывает путь к освобождению». Начинающему медитативные упражнения обычно рекомендуют установку безразличия, отрешенного и отчужденного фиксирования впечатлений. Позднее она сменяется оценочно-негативной установкой: медитирующий учится воспринимать все предметы как непостоянные, лишенные реальности, приносящие страдание.

Действительность все же пробивала заслоны безразличия и отрицания. Наиболее яркий пример – «медитация в действии». Призыв к ней содержался уже в ранних буддийских сутрах: «Всё, что ни делаете, делайте с полным осознанием: входя и выходя, глядя и бодрствуя, протягивая руку и сгибая, неся платье и неся чашу, во время еды и питья, вкушая и отведывая, ходя, стоя, сидя, в постели и на стороже, в беседе и молчании...» В современном руководстве по буддийской медитации подчеркивается недопустимость раздвоения психики, необходимость сконцентрировать внимание на бесстрастном фиксировании происходящего. «Когда идешь, только иди. Когда сидишь, только сиди. Когда моешь посуду, только мой посуду». Ученикам, сетующим на скуку механического мытья посуды, запрещается спасаться от этой скуки фантазией, посторонними мыслями и т.п. Подчеркивается ценность именно скучных и монотонных упражнений, необходимых, как и в обучении пианистов. Но в этом же руководстве приводится любопытная цитата из комментариев к сутрам, в которой сообщается о широком применении медитации к обыденной жизни в земле Курус (район современного Дели). Одна из жительниц Курус спрашивает у другой, какой вид медитации та использует. Получив ответ «никакой», она с сожалением отмечает: «Хоть ты и живешь, но ты как мертвец». Что означает этот упрек? Оживление обыденной жизни через медитацию? Вместо ослабления привязанности к жизни?

В дзен-буддизме «медитация в труде» тоже означала, по идее, беспристрастное незаинтересованное действие (здесь и влияние даосского принципа «деяние – через – не-деяние»). Однако именно монаху одного из дзенских монастырей принадлежат знаменитые стихи:

«Как удивительно,
Как таинственно это –
Я ношу дрова,
Я черпаю воду!»

Та же околдованность обыденным, что и в трехстишиях Басё.

В практике дзен энергично проводилась и борьба с умствованием, рефлексией, вербализацией. С этой целью сочинялись абсурдные, неразрешимые логические загадки – «коаны». Они способствовали обновлению чувственного восприятия мира вплоть до неузнаваемости предметов (нарушение автоматизма классификации). Как выразился один из монахов: «Когда я еще не начал изучать дзен, горы были горами, а реки – реками; когда я начал изучать дзен, горы перестали быть горами, а реки – реками: когда я постиг дзен, горы снова стали горами, а реки – реками». Роджер Уолш из Калифорнийского университета рассказывал, что после 4–5 месяцев медитативной практики у него наступали моменты неузнавания самых обычных предметов, моменты неприятные и тревожные (как у Рокантена!), но он был вознагражден «повышенной перцептуальной чувствительностью и эмпатией». Обрел даже способность синестезии: не только слышал звуки, но также видел и осязал их.

Ценность «побочных», «посюсторонних» эффектов медитации все более осознается. Кришнамурти в «Комментариях к жизни» прямо заявляет: «Не быть способным к медитации значит лишиться возможности видеть солнечный свет и черноту тени, искрящиеся воды и нежные листья. И как мало людей видят это!» Пролистывая описания суровых будней в монастырях дзен, я подумал, что лишь «земные» побочные эффекты медитации могли скрасить жизнь монахов, которым годами (или вообще) не удавалось достичь мистического озарения («просветления»). Ведь у них не было даже христианского утешения мыслями о загробной награде – райском блаженстве. Впрочем, большинство описаний самого мистического озарения делает его похожим на молниеносный приступ райского блаженства. С оговорками о невыразимости этого высшего состояния. Но хоть и невыразимое, но – блаженство. Несказанное, несравненное блаженство. «Божественное наслаждение в бездне неименуемого» – формула Рейсбрука Удивительного.

В познавательном отношении мистический опыт передается обычно метафорой света, но чистого, абсолютного света, в котором нет дифференциации, нет различий, нет отдельных объектов.

Я. Рейсбрук утверждал, что мистик «в своей глубине, где он покоится, не видит и не испытывает ничего, кроме непостижимого света, и по простой наготе, облекающей все вещи, он видит себя и чувствует себя тем самым светом, через который он видит, и ничем иным». Изумительное чувство. Но знание... Что уж греха таить, для меня, как, наверное, и для всех непросветленных, «чистый свет есть чистая тьма». Формула Гегеля, отмечавшего также, что чистое бытие есть чистое ничто. Он не метил в мистиков, – попадание случайно.

«Ты только ничто полюби,
Ты к нечто любовь обруби,
Ты одиноким будь,
Ты знай: к никому твой путь».

Стихи Мехтхильд из Магдебурга, монахини XIII века. Я далек от мысли, что мистики оказались в элементарном проигрыше, обменяв нечто на ничто. Но я до сих пор не могу понять, что из ценности мистических состояний принадлежит им самим по себе и что – привнесено интерпретацией этих состояний как высших, абсолютных, божественных, дающих подлинное знание, слияние с вечностью, проникновение в четвертое измерение и т.д. и т.п. Интерпретация эта может быть даже полуавтоматической, неосознанной, почти инстинктивной. Как в знаменитом описании Достоевского ослепительных мгновений перед эпилептическим припадком: «Ощущение жизни, самосознание почти удесятерялось в эти мгновения... Проблески высшего самоощущения и самосознания, а стало быть, и “высшего бытия”... Гармония, красота, неслыханное и негаданное дотоле чувство полноты, меры, примирения и восторженного молитвенного слития с самым высшим синтезом жизни...» И вместе с тем Достоевский недвусмысленно констатирует, что эти мгновенные состояния не содержали в себе ничего кроме интенсивного самосознания: «Мгновения эти были именно одним только необыкновенным усилением самосознания, – если бы надо было выразить это состояние одним словом, – самосознания и в то же время самоощущения в высшей степени непосредственного».

Трудно не поверить Достоевскому и мистикам, что такие моменты стоят всей жизни. Но ведь это на фоне крайнего омертвления и обесцвечивания жизни, к которому мы так привыкли, что считаем его нормальным. Если бы мистики потратили хотя бы часть предпринимаемых ими усилий на обновление обычного вос-

приятия обычных вещей! Если бы Бодхидхарма потратил не девять лет, а хотя бы девять дней на созерцание своей пещеры! Но не отрешенное и отчужденное созерцание, а созерцание-растворение, созерцание-самоотдачу, по всем законам мистического «слияния с абсолютом». По законам постижения сущего, сформулированным еще великим мистиком Плотином: «Мы увлекаемся к сущему и возносимся к нему, и познаем его не тогда, когда имеем образы этого или представления... напротив, когда мы сами являемся этим. Если, следовательно, мы принимаем участие в истинном познании, то мы – сущее: не тогда, когда мы воспринимаем его в себе, а тогда, когда находимся в нем... Когда познающий не находит той точки, где он сам стоит, и границы, до которой он простирается, он перестает отделять себя самого от всего бытия и переходит во вселенную, совершенно не двигаясь с места и оставаясь именно там, где покоится основание вселенной».

* * *

«Слиться со всею вселенной – вот жизнь божества, вот рай для человека! Слиться воедино со всем живущим, возвратиться в блаженном самозабвении во всебытие природы – вот вершина чаяний и радостей, вот священная высота, место вечного отдохновения, где полдень нежарок, и гром безгласен, и бурлящее море подобно бесшумно волнующейся ниве».

(Ф. Гельдерлин)

«Бытие – это ближайшее. Однако ближайшее остается для человека самым далеким».

(М. Хайдеггер)

«Подлинная жизнь отсутствует. Мы пребываем вне мира».

(А. Рембо)

«Если в старые времена, когда люди лепились к земле, было благодеянием указать им на небо, направить их внимание на духовное начало, то теперь – еще большая заслуга привлечь их обратно на землю».

(И.В. Гёте)

«Вот, я ныне отхожу в путь всей земли».

(Иисус Навин)

«Люди должны возвратиться к действительности; они не могут жить призраками».

(Т. Карлейль)

«Надо молиться видимости, веровать в формы, тоны, слова, в весь Олимп видимости!»

(Ф. Ницше)

«Мерило чудесного – мы сами: если бы мы старались найти одно общее мерило, то понятие чудесного отпало бы само собой, и все вещи стали бы одинаково значительными»

(Г.К. Лихтенберг)

«О Море! О вечер!.. При виде вас перестаешь быть человеком. Должен ли я вам отдаться? Должен ли я стать таким же, как вы – бледным, сверкающим, немым, огромным, покоящимся в себе самом? поднявшимся над самим собой?»

(Ф. Ницше)

«Волны, Марина, мы море! Глубины, Марина, мы небо.
Мы – земля, Марина, мы тысячекратно весна».

(Р.М. Рильке)

«Вкруг луны обовьемся, как прозрачные ткани,
Позаимствуем отсвет многоцветных сверканий.
Звон ручьев мы впитаем, и плесканье в озерах,
И соснового бора еле слышимый шорох».

(В. Тетмайер)

«Я – океан,
И зыбь развитья,
И ткацкий стан
С волшебной нитью».

(И.В. Гёте)

«Я вкус в воде, Каунтея.
Я блеск луны и солнца...
Я чистый запах в земле,
В огне – сиянье».

(Бхагавадгита)

«Не этого ли, земля, ты хочешь?
Невидимой в нас
Воскреснуть? Не это ли было
Мечтой твоей давней? Невидимость!
Если не преображенья,
То, чего же ты хочешь от нас?»

(Р.М. Рильке)

«Тот, кто живет в тишине, становится центром вселенной».

(Т. Руссо)

«Кто может вместить, да вместит».

(Евангелие от Матфея)

«Я всеобъемлющ.
Вмещаю в себе множество множеств».

(У. Уитмен)

«Я люблю того, чья душа чрезмерно полна, так что он забывает самого себя, и все вещи – в нем: так становятся все вещи его гибелью».

(Ф. Ницше)

«Чтобы принести хорошие плоды, нужно стать шпалерным деревом, т.е. остаться на одном месте всю свою жизнь, с вытянутыми руками, с открытым ртом, чтобы впитывать в себя все, что происходит, и жить этим».

(Э. Дега)

«Корень мой открыт для воды, и роса ночует на ветвях моих».

(Иов)

«Встань лицом к факту, и ты увидишь, что солнце играет на обеих его гранях, точно на лезвии острого меча, ты почувствуешь, как он пройдет через твое сердце и рассечет костный мозг, и ты счастливо завершишь свое земное существование».

(Г. Торо)

«Всматривайтесь в вещи достаточно глубоко, и вы повсюду найдете музыку».

(Т. Карлейль)

«Ещё не пробил час, когда глаза открываются, чтобы читать немую музыку, написанную в книге полей».

(Р. Роллан)

«Они видя не видят, и слыша не слышат».

(Евангелие от Матфея)

«Ждем света, и вот тьма, – озарения, и ходим во мраке. Осязаем, как слепые стену, и, как без глаз, ходим ощупью; спотыкаемся в полдень, как в сумерки, между живыми – как мертвые».

(Пророк Исаия)

«Опомнись, оглянись!
Ты – видишь этот свет?
А ту деталь, а штрих?
Ты этот запах слышишь?»

(Ф. Эбнер)

«Свободен ли ты?... Если вещь видит, что вы заняты – будь то хоть частицей вашего внимания, – она закрывается, она еще сообщает вам, может быть, пароль, подает вам мимоходом легкий дружественный знак (что уже много для смертного, замкнутого между смертных)... но отказывается дать вам свое сердце, доверить вам свою терпеливую сущность, свое тихое звездное постоянство, так роднящее ее с созвездиями! Чтобы вещь вам говорила, вы должны взять ее на некоторое время как единственную существующую, как единственное явление, помещенное усердием и исключительностью вашей любви по самой середине вселенной и на этом несравненном месте обслуживаемое в тот день ангелами».

(Р.М. Рильке)

«Если я видел какой-либо предмет внешнего мира, то меня от него отделяло сознание, что я его вижу, оно покрывало его тонкой духовной оболочкой, не дававшей мне прикоснуться к его веществу; прежде чем я успевал до него дотронуться, оно как бы улетучивалось, – так, если поднести раскаленное тело к мокрому предмету, оно не дотронется до его влажности, оттого что вокруг такого предмета всегда образуется зона испарения».

(М. Пруст)

«Вот зрелище! Но горе мне;
Лишь зрелище! С напрасным стоном,
Природа, вновь я в стороне
Перед твоим священным лоном!
О, как мне руки протянуть
К тебе, как пасть к тебе на грудь,
Прильнуть к твоим ключам бездонным!»

(И.В. Гёте)

«Мир природы для всякого человека является фантазией о самом себе; мир этот представляет многосложный образ его собственной мечты».

(Т. Карлейль)

«Человек и вещи. – Отчего человек не видит окружающих его вещей? Он сам стоит на дороге – он заслоняет от себя вещи».

(Ф. Ницше)

«Мне надо удалиться, чтобы жить,
Или остаться и проститься с жизнью».

(У. Шекспир)

«И пока нет у тебя этой
Жажды гибели,
Этого умри и обновись,
Ты только унылый гость
На темной земле».

(И.В. Гёте)

«Нужно научиться не видеть себя, чтобы видеть многое».

(Ф. Ницше)

«Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзнутся».

(Пророк Исаия)

«Пробужденье драгоценней сна».

(Р. Браунинг)

«Вот я стою на голой земле – голову мне овевает бодрящий воздух, она поднята высоко в бесконечное пространство – и все низкое самолюбие исчезает. Я становлюсь прозрачным глазным яблоком; я делаюсь ничем; я вижу все; токи Вселенского Бытия проходят сквозь меня; я часть бога или его частица».

(Р.У. Эмерсон)

«И, вдвившись в бесконечность бытия,
Не одинок паломник одинокий,
Очищенный от собственного “я”».

(Д.Г. Байрон)

«О, друг, вникай!
Что полночь говорит? Внимай!
“Был долог сон, –
Глубокий сон, развеян он: –
Мир – глубина,
Глубь эта дню едва видна...”»

(Ф. Ницше)

«Разве вообще видеть не значит – видеть бездны?»

(Ф. Ницше)

«Все имеет свои глубины. Имеющий глаза видит все во всем».

(Г.К. Лихтенберг)

«Всё во мне, и я во всем».

(Ф.М. Тютчев)

«Не только созерцать, но и питаться созерцанием».

(Плутарх)

«Видеть – это существовать полнее».

(П. Тейяр де Шарден)

«Обогащение жизни называется счастьем».

(Лао-цзы)

* * *

Счастье... Как отвык я даже думать о нем. По ту сторону счастья и горя, радости и печали. Когда с болью трудно совладать, вспоминается лишь древняя мудрость: счастье – это отсутствие страдания. Но с болью труднее всего совладать, когда пытаешься ее одолеть. Лучше уступить. Отдаться и плыть по течению. Проникнуть внутрь боли. Или раствориться в ней. Иногда кажется, что боль сама по себе не так уж и страшна. Только предубеждение, отвращение, отталкивание делает ее нестерпимой. Темный фон боли придает особую тональность всем впечатлениям. Как в палехской живописи. Но думать трудно. Мысль вязнет в этом черном гуталине.

* * *

Боль душевную – страдание, горе, печаль – человечество издревле поглощает как незаменимую пищу, в сравнении с которой все радости бытия – лишь пустышки, не насыщающие душу.

И все же – на приманку счастья мы глотаем любой крючок. За минуту блаженства готовы платить вечными муками. Сахар счастья притягивает нас, как леденец – малыша. Самые глубокие и возвышенные религии не обходятся без пряника райского блаженства. Самые суровые и аскетичные мистики намекают на «божественное наслаждение в бездне неименуемого». Без сиропа счастья любая пища нам кажется пресной. Этот сироп отбивает подлинный вкус к жизни, к насущному хлебу бытия. Стремление к счастью – быть может, самая глубокая причина человеческих несчастий.

* * *

Желание – стремление – целеполагание. Направленность, стягивающая мир в точку, а жизнь – в линию, ведущую к этой точке. К финалу. Финализация – линеизация – примитивизация жизни. Загоняем себя в узкий темный тоннель. Не видим и не ощущаем ничего, кроме смутного мерцания – «света в конце тоннеля». Все эмоции сводятся к «ах» (удается продвинуться) и «ох» (наталкиваемся на препятствие). Положительные и отрицательные эмоции. *Двузначность психики*. Наконец – громчайшее «Ах!» – выва-

ливаемся на божий свет из тоннеля. Экстаз. Эйфория. Приходим в себя. Оглядываемся. И ныряем в новый тоннель...

Какие-то – и неизбежные – тоннели прокладывает сама природа, подталкивая нас к пище, воде, крову, размножению. Отвоевав зону свободы, мы уже не можем остановиться. Роем собственные тоннели. Сами себя загоняем. И всю жизнь, как кроты, продвигаемся по узким ходам. Не видя света божьего, не ощущая жизни и друг друга. Вперед, к последнему предсмертному ОХ, с надеждой на райское АХ.

* * *

Прощание с молодостью – это переход к глобальной наркомании. Лишь универсальность заболевания позволяет его не замечать. Начинающий опиоман еще испытывает эйфорию, но постепенно развивается привыкание, эйфория блекнет, а муки абстиненции становятся невыносимыми. Так и в жизни. В начале ее мы испытываем эйфорию от любви, творчества, успеха, богатства, славы. Но затем развивается привыкание. И мы продолжаем принимать наркотики любви, творчества, успеха, богатства, славы, чтобы не мучиться абстиненцией, ибо наркотики эти вошли в плоть и кровь. Наши ахи звучат все тише, а охи – все громче. Жизнь – уже не погоня за радостями, а бегство от огорчений и психического дискомфорта.

Я совсем уже отчаялся найти где-нибудь подтверждение этой аналогии, как вдруг – невероятный подарок судьбы – наталкиваюсь в гранинском «Зубре» на заявление маститого ученого – Льва Блюменфельда: «Боюсь, что занятие наукой – патология... Многие из вас убедились, что удовольствие от науки – приманка для непосвященных. Радость успеха, что маячит впереди, достается так редко, что не следует на нее рассчитывать. Да и, кроме того, удовольствие вовсе не связано с большими результатами. Занятие наукой скорее напоминает мне болезнь вроде наркомании или алкоголизма. Пьёшь потому, что не можешь не пить. Отказаться нет сил. Пьёшь – и противно, как говорил один алкаш, но не пить еще противнее».

Другой Лев, более известный, – Лев Шестов – тоже считал слухи о счастье творцов сильно преувеличенными. «Восторги творчества! Пустые слова, придуманные людьми, никогда не имевшими случая по личному опыту судить о том, что такое твор-

чество... Творчество есть непрерывный переход от одной неудачи к другой. Общее состояние творящего – неопределенность, неизвестность, неуверенность в завтрашнем дне, издерганность. И чем серьезнее, значительнее и оригинальнее взятая на себя человеком задача, тем мучительней его самочувствие».

* * *

Именно вторая – наркотическая – половина человеческой жизни придает значительную степень правдоподобия тезису Эпикура о наслаждении как отсутствии страдания и тезису Шопенгауэра о негативном характере удовольствия и позитивном характере боли и страдания.

* * *

Эфемерность человеческого счастья, перевес огорчений над радостями в бухгалтерии нашей жизни – постоянный мотив философии пессимизма, доведенной до карикатуры вычислениями Гартмана. Вместе с тем многие философы опасались «идиотикона счастья» – жизни, в которой доминировали бы радости и наслаждения.

«Самое опасное то, что грозит окончательной гибелью живому существу – и душе и телу, – это удовольствие... Удовольствие есть, для огромного большинства людей, сон, иначе говоря, смерть души, возвращение ее к небытию. Боль, страдание – есть начало пробуждения. Приятное, ровное, уравновешенное существование убивает в человеке все человеческое, возвращает его к растительному прозябанию, в лоно того ничто, из которого его так загадочно извлекла какая-то загадочная сила. Если бы жизнь человека легко протекала и заканчивалась бы легкой, приятной смертью, то он был бы поистине самым эфемерным существом».

(Л. Шестов)

Фромм, однако, подчеркивал, что «любое приращение радости, которое способна обеспечить данная культура, сделает больше для нравственного воспитания ее членов, чем все предупреждения о наказании или проповеди добродетели». А Ницше объявил преобладание чувств неудовольствия над чувствами удовольствия «формулой декаданса». Нельзя ли расширить эту формулу? Не является ли признаком декаданса само преобладание чувств удовольствия и неудовольствия? Сама двузначность психики? Сведе-

ние ее состояний к двум «гедоническим тональностям» – плюсу и минусу, наслаждению или недовольству?

«Чувство может быть только удовольствием или недовольством, удовлетворением или неудовлетворением воли; все прочее в нем суть только определения, относящиеся к области представления».

(Э. Гартман)

«Природа поставила человечество под управление двух верховных властителей, страдания и удовольствия. Им одним предоставлено определять, что мы можем делать, и указывать, что мы должны делать... Всякое усилие, которое мы можем сделать, чтобы отвергнуть это подданство, послужит только к тому, чтобы доказать и подтвердить его. На словах человек может претендовать на отрицание их могучества, но в действительности он всегда останется подчинен им».

(И. Бентам)

«Для большинства отсутствие удовольствия и страдания равносильно страданию: это заложено в самом естестве».

(Аристотель)

«*Сократ*: Предположи, что кто-либо из нас избрал бы жизнь, в которой обладал бы и умом, и знанием, и полнотой памяти обо всем, но ни в какой степени не был бы причастен ни удовольствию, ни печали и оставался бы совершенно равнодушен ко всему этому.

Протарх: Такая жизнь, Сократ, не кажется мне достойной выбора, да и всякому другому, думается мне, не может показаться такой».

(Платон)

Здесь же, в «Филебе», отмечается, что Сократ «установил три рода жизни: жизнь радостную, жизнь печальную и жизнь, лишенную радостей и печалей», – жизнь, в которой есть «только разумение, сколь возможно чистейшее». Стремление философов древности стать, подобно богам, «выше наслаждений и страданий» (Марк Аврелий) означало выход в третье измерение, но не третье измерение эмоциональной жизни, а внеэмоциональное измерение, где высшей ценностью считается невозмутимость души («атараксия»), для простого смертного равносильная эмоциональной смерти (Аристотель и называл нечувствительность к удовольствиям «анестезией», а нечувствительность к страданиям – «анальгезией»).

«Нет уз для тех, у которых нет приятного или “неприятного”», – возвещает «Дхаммапада». Свобода от уз – прекрасная вещь, но если цена свободы – апатия... Если «по ту сторону радости и печали» звучит как «по ту сторону жизни»… «Вовсе не важно, чтобы жизнь ласкала тебя. Главное, чтобы она была живая» (Р. Роллан).

Выход в «третье измерение» должен быть обогащением, а не стерилизацией жизни.

К «Дхаммападе» нужна и чисто житейская оговорка: с годами все мы движемся к притуплению радостей и печалей, но их власть над человеком не ослабевает. Автоматизм привычки подталкивает сзади, когда ничто уже не вдохновляет впереди. Зависимость от наркотиков жизни возрастает, когда от эйфории не остается и следа.

* * *

«Наслаждения уже не тешат их, а повелевают ими, они же – и это худшее зло! – любят свое зло».

(Сенека)

«И средние века так не страшны,
Как страшен средний возраст нашей жизни».
(Д.Г. Байрон)

«Не разорвать могучих чар;
Ни смерти нет, ни жизни!»
(Г. Гейне)

«Жизнь подобна комедии, которая начата людьми, а потом доигрывается до конца облеченными в их одежды автоматами».

(А. Шопенгауэр)

«Как? Вечно смотреть на эту комедию, вечно разыгрывать ее? Никогда не смотреть другими, не нашими глазами на мир?»

(Ф. Ницше)

«Всё ритм и бег. Бесцельное стремленье!
Но страшен миг, когда стремленья нет».
(И.А. Бунин)

«Все люди хотят одного: освободиться от смерти; они не умеют освобождаться от жизни».

(Лао-цзы)

«Невероятно, как пусто и бессодержательно, рассматриваемая извне, и как тупо и бессмысленно, ощущаемая изнутри, – протекает жизнь большинства людей. Это – мучительная тоска и томление, сопровождаемое рядом тривиальных помыслов, сонное блуждание шаткой поступью через четыре возраста жизни вплоть до смерти. Люди подобны часовым механизмам, которые заведены и идут,

сами не зная для чего; всякий раз, когда зачат и рожден новый человек, опять заводятся часы человеческой жизни, для того чтобы нога в ногу и такт за тактом, с незначительными вариациями, повторить уже бесчисленное число раз сыгранную шарманочную пьесу».

(А. Шопенгауэр)

«Человек родится, дабы жить в судорогах беспокойства или в летаргии скуки».

(Вольтер)

«Мы отдаемся барщине ежедневного труда с такой горячностью и бешенством, какие вовсе не нужны для нашей жизни, – потому что нам кажется нужнее всего не приходить в сознание».

(Ф. Ницше)

«Дельность наших лучших ученых, их безумное прилежание, их день и ночь дымящаяся голова, самое их ремесленное мастерство – как часто все это имеет свой истинный смысл лишь в том, чтобы не допустить самого себя увидеть что-нибудь, не прийти в сознание».

(Ф. Ницше)

«И когда в один прекрасный день ты понял, что их желания – жалки, их профессии закостенели и больше с жизнью не связаны, почему же и дальше не смотреть на них детскими глазами, как на чужое из глубока собственного мира, издалека собственного одиночества, которое само уже – труд, и достоинство, и призвание».

(Р.М. Рильке)

«Были дни, когда любой человек действия казался ему игрушкой гротескного бреда, и тогда он долго смеялся чудовищным смехом».

(А. Рембо)

«Если кто-нибудь весьма охотно что-либо делает, то почти всегда он видит в этой вещи нечто такое, чего на самом деле в ней нет».

(Г.К. Лихтенберг)

«Человек должен выдумать себе цель и потом страстно стремиться к ней, попеременно испытывая из-за этой выдуманной цели алчность, злобу, страх, уподобляясь ребенку, который пугается рожи, им самим намалеванной».

(Б. Паскаль)

«Гибнут, как дыма струя, скоротечных людей поколенья,
Сердцем постигнув лишь то, что каждому путь преградило
В суетной жизни стезе».

(Р.У. Эмерсон)

* * *

Преграды? Сердцем? Скорее умом. Чтобы обойти. Обогнуть. Преодолеть. И постигается лишь в том, что мешает обойти. Постигается лишь функционально. С точностью до продвижения к цели. Финализация жизни означает функционализацию мира. Осредствление вещей и людей. Все и вся воспринимается лишь как средство. В его положительной или отрицательной функции. Двузначность психики делает двузначным весь мир. Сводит и людей, и вещи к их роли, функции в достижении цели. К условным знакам торможения или продвижения. Символам успеха или неуспеха. Образец современной жизни – гонщик на шоссе. Весь мир – набор дорожных знаков. Люди и вещи – сигналы поворотов, знаки возможных столкновений. Вся психика – серия напряжений и расслаблений. Сама цель – ленточка финиша – чисто условна и символична. Знак успеха, сигнал к расслаблению, кайфу. Стресс и кайф – сиамские близнецы. Два основных состояния современного человека.

«И всюду царит неприличная торопливость, точно будет что-то упущено... Вы не знаете совсем, что вы переживаете, вы бежите через жизнь, как пьяные... Та суета, то, захватывающее дух, ловление момента, та чрезмерная спешка, которая срывает все вещи еще недозрелыми с ветвей, та погоня и скачка, которая проводит ныне борозды по лицу людей и как бы татуирует все, что они делают. Они несутся вперед с неприличной озабоченностью, как будто в них действует какое-то зелье, не дающее им спокойно дышать – гонимые рабы трех «м» – момента, мнений и моды... При чудовищном ускорении жизни дух и взор приучаются к неполному или ложному созерцанию и суждению, и каждый человек подобен путешественнику, изучающему страну и народ из окна вагона железной дороги... Благодаря недостатку покоя, наша цивилизация переходит в новое варварство. Никогда деятельные, т.е. беспокойные, не имели большего влияния, чем теперь. Поэтому к числу необходимых корректур, которым нужно подвергнуть характер человечества, принадлежит усиление в очень большой мере созерцательного момента».

(Ф. Ницше)

* * *

«Люди, которые становятся слабыми для созерцания, совершают деятельность, эту тень созерцания и смысла».

(Плотин)

«Неустанное желание творить вульгарно и свидетельствует о ревности, зависти и честолюбии. Если человек есть нечто, то он, собственно, не должен ничего делать – сделает все же весьма много. Существует порода высшая, чем “производительный человек”».

(Ф. Ницше)

«Современное шумливое, не теряющее даром времени, гордое собою, глупо гордое трудолюбие...»

(Ф. Ницше)

«”Я сегодня ничего не свершил”. Как? А разве ты не жил? Просто жить – не только главное, но и самое замечательное из твоих дел».

(М. Монтень)

«Забудьте же это “для”, вы, созидающие: ваша добродетель требует, чтобы вы не делали ничего “для”, “ради”, или “потому что”. Заткните уши свои от этих лживых маленьких слов».

(Ф. Ницше)

«К плодам действий покинув влеченье, всегда довольный, самоопорный, он, хоть и занят делами, но ничего не свершает».

(Бхагавадгита)

«Все, не обладающие, в одно и то же время, покоем и действием, в одном и том же делании, не получили праведности праведных».

(Я. Рейсбрук)

«Каждая песчинка камня, каждый вспыхивающий в ночи отблеск руды, вкрапленной в гору, сами по себе образуют целые миры. Одного восхождения к вершине достаточно, чтобы наполнить до краев сердце человека. Надо представлять себе Сизифа счастливым».

(А. Камю)

* * *

Счастливый Сизиф? Действие без цели... Созерцательное действие. Действие – созерцание. Одиночество. Наедине с камнем. Правда, камень может отбить вкус к общению. Как мой серый камень. Взгляд скользит по лицам, не задерживаясь. Шифровка ахов и охов. Тривиальных чувств, слишком человеческих. На которые – аллергия. Сразу, как появляется вкус к реальности. Отвлекаясь от выражения лиц, начинаешь воспринимать их просто как рельеф, пейзаж. Г.К. Лихтенберг, правда, отмечал, что самая занимательная поверхность на земле – это человеческое лицо. А Р.М. Рильке даже усматривал «величественную тайну» Рембрандта в том, что он видел и писал человека как пейзаж. «Он умел писать портреты, потому что глубоко вглядывался в лица, как в страны с дальним горизонтом и высоким облачным подвижным небом». Есть что-то противоестественное в восприятии лиц как неодушевленных

предметов. А в том, что их одушевляет, я болезненно фиксирован на самом общем и тривиальном. Оно забивает все, что неповторимо и индивидуально. Мне уже не справиться с этим. Я так и не увижу людей. Как никогда и не видел.

* * *

«Легче познать людей вообще, чем одного человека в частности».
(Ф. Ларошфуко)

«Человек стоит всегда на несколько шагов слишком близко к себе и на несколько шагов слишком далеко от ближнего».
(Ф. Ницше)

«В каком необыкновенном упрощении вещи и человека живем мы!»
(Ф. Ницше)

«Человек – это незнакомец».
(А. Каррель)

«Сличи его черты, как письмена,
Измерь, какая в каждой глубина».
(У. Шекспир)

«Чем дольше наблюдаешь лица, тем больше открываешь в так называемых невыразительных физиономиях черты, придающие им индивидуальность».
(Г.К. Лихтенберг)

«Истинно необыкновенным человеком является истинно обыкновенный человек».
(С. Кьеркегор)

«Чем умнее человек, тем больше своеобычности он находит во всяком, с кем сообщается. Для человека заурядного все люди на одно лицо».
(Б. Паскаль)

«Наблюдать лица простых людей на улице – всегда одно из самых любимых моих удовольствий. Никакие картины волшебного фонаря не могут сравниться с этим».
(Г.К. Лихтенберг)

«Каждое человеческое существо обладает волнующей красотой, оно может быть уподоблено собору; достаточно едва коснуться его, чтобы извлечь из него великое произведение искусства».
(Э.А. Бурдель)

«Одно из несчастий жизни состоит в том, что радость видеть любимое существо и разговаривать с ним не оставляет по себе ясных воспоминаний. Душа, очевидно, слишком потрясена своими волнениями, чтобы быть внимательной к тому, что их вызывает или сопровождает».

(Стендаль)

«Искал любви, чтобы в любовной муке
Любовно заключить любовь в объятья».
(Г. Гейне)

«Любят, в конце концов, не предмет вожделения, а собственное вожделение».
(Ф. Ницше)

«В дружбе, как и в любви, чаще доставляет счастье то, чего мы не знаем, нежели то, что нам известно».

(Ф. Ларошфуко)

«Люблю, чтоб “ближний” был далеко:
Тогда лишь блещущей высоко
Звездой его считает око».
(Ф. Ницше)

«Ничто не может растрогать так, как случайно замеченный мечтательный, полный счастья взор, которым молодая красивая женщина смотрит на своего мужа. Он возбуждает в душе постороннего зрителя нечто, похожее на осеннюю грусть, представляя ему воочию, как велико может быть человеческое счастье и как оно преходяще».
(Ф. Ницше)

«Неужели нельзя изобрести средство, которое заставило бы женщин любить своих мужей?»

(Ж. де Лабрюйер)

«С дамасской розой алой или белой,
Нельзя сравнить оттенок этих щек.
А тело пахнет так, как пахнет тело,
Не как фиалки нежный лепесток».
(У. Шекспир)

«Тень от ресниц, изгиб рта были для него таинственными необозримыми ландшафтами, зачаровывавшими душу».

(Р. Роллан)

«Молодость груба, жадна, ревнива,
Молодость не знает счастья – видеть
Слезы на ресницах Дездемоны,
Любящей другого...»
(И.А. Бунин)

«Иногда он вдруг начинал приглядываться к Аглае и по пяти минут не отрывался взглядом от ее лица; но взгляд его был слишком странен: казалось, он глядел на нее как на предмет, находящийся от него за две версты, или как бы на портрет ее, а не на нее самое».

(Ф.М. Достоевский)

«Неужели ты не знаешь, что значит смотреть на возлюбленную? Видеть ее – это большее наслаждение, чем обладать ею».

(Ахилл Таций)

«Ах, я мог бы застыть подле нее на веки веков в блаженном созерцании, забыв о себе и обо всем на свете, – такое неисчерпаемое богатство таит эта скромная, тихая женщина».

(Ф. Гельдерлин)

«Чтобы любить, надо видеть».

(М. Метерлинк)

«Надо научиться смотреть, чтобы научиться любить. “Двадцать лет я жил вместе с моей сестрою, – рассказывал один из моих друзей, – и в первый раз я увидал ее в минуту смерти нашей матери”... И разве не каждый из нас окружен такими сестрами, которых он ни разу не видал?»

(М. Метерлинк)

«Истинная сущность любви состоит в том, чтобы отказаться от сознания самого себя, забыть себя в другом Я и, однако, в этом исчезновении и забвении впервые обрести самого себя и обладать самим собою».

(Г. Гегель)

* * *

Мое восприятие людей, пожалуй, не так уж и безнадежно. Бывают удивительные прорывы. Или я просто соскучился по самому обычному, немудреному общению? На днях в старой газете увидел фотографию – очередь кабульцев за мукой. Сбоку бабуля с внучкой. Девочка лет пяти. Скуластое личико. Взлохмаченные волосы. Прямой взгляд. Некрасивая, но живая и характерная рожица. Чувствуется будущий крутой нрав, – достанется и мужу, и детям. Муж. Ведь он где-то уже ходит по земле. Может, стоит с дедом в той же очереди. Но она еще не знает о его существовании. И я никогда не узнаю, какой он. И никогда не узнаю, что будет с нею. Такая живая, до жути реальная. И вместе с тем – ее нет. Совсем нет. Она хуже, чем призрак. Она так же нереальна для меня, как все, чего ни-

когда не было. И никогда не будет. Меня вдруг пронзило мучительное чувство *невозможности*, *немыслимости* всего этого. Я говорю «невозможность», «немыслимость». Потому что нужно что-то сказать. Как-то назвать. На деле чувство это несказуемо. Невыразимо. Как и чувство, потрясшее меня до основания, когда прочел реестр имущества Рембрандта. Вещей, проданных за долги.

«...123. "Суета сует", пройденная Рембрандтом. 124. Пейзаж гризелью Геркулеса Зегерса. 125. "Вечерние сумерки" Рембрандта. 126. Большое зеркало. 127. Шесть стульев с синими сиденьями. 128. Дубовый стол. 129. Вышитая скатерть. 130. Пресс из кедрового дерева. 131. Из того же дерева шкаф для детского белья. 132. Кровать с периной. 133. Две подушки. 134. Два одеяла. 135. Синий занавес. 136. Камышовый стул. 137. Грелка».

Ни одна картина Рембрандта не действовала на меня так сильно, как этот список его домашних вещей. Быть может, немота, безымянность чувств и ощущений и есть критерий их подлинности? Не к этому ли стремились и романтики? Но у них – тоска по дальнему и экзотическому. У меня же – ностальгия по ближайшему, обыденнейшему. Тоска по реальности. Реализм как жизненный стиль. Альтернатива романтизму, сентиментализму, гедонизму, прагматизму... Стиль, который может быть чисто внутренним. Внешне – обычный человек, ничем не выделяется. Но внутри – другой мир...

* * *

«Единый миг мне большей бездной стал,
Чем двадцать пять веков».
(Данте Алигьери)

«Забыты числа, и утрачен срок,
И каждый шаг как вечности поток».
(Г. Гейне)

«Не насытится око зрением,
Не наполнится ухо слушанием».
(Екклесиаст)

«Песок морей и капли дождя и дни вечности кто исчислит?»
(Сирах)

* * *

«Наша жизнь в годы детства так бесконечно значительна, в эту пору все для нас одинаково важно, мы слышим все, видим все, впечатления все равноценны, тогда как позднее мы становимся более рассудительными, интересуемся исключительно частностями, чистое золото созерцания с трудом размениваем на бумажки книжных определений, и приобретая больше жизненной широты, теряем при этом жизненную глубину».

(Г. Гейне)

«Человек уже не противостоит реальности непосредственно, он не сталкивается с ней лицом к лицу. Физическая реальность как бы отдаляется по мере того, как растет символическая активность человека. Вместо того, чтобы обратиться к самим вещам, человек постоянно обращен на самого себя. Он настолько погружен в лингвистические формы, художественные образцы, мифические символы или религиозные ритуалы, что не может ничего видеть и знать без вмешательства этого искусственного посредника. Так обстоит дело не только в теоретической, но и в практической сфере. Даже здесь человек не может жить в мире строгих фактов или сообразно со своими непосредственными желаниями и потребностями. Он живет, скорее, среди воображаемых эмоций, в надеждах и страхах, среди иллюзий и их утрат, среди собственных фантазий и грез».

(Э. Кассирер)

«Мы рискуем позабыть тот язык, на котором говорят без метафор все вещи и события, – а ведь только он один богат и может служить образцом. Многое оглашается, но мало что печатается. Кто вспоминает о луче, пробившемся сквозь щели в ставне, когда ставни распахнуты настежь? Никакой научный метод не заменяет необходимости постоянного внимания к жизни. Разве курс истории, или философии, или поэзии, пусть самой избранной, или самое лучшее общество, или самый налаженный обиход могут сравниться с умением видеть все, что показывает нам жизнь?»

(Г. Торо)

«Там знают лишь книжного человека, а в каждой вещи видят только то, что уже заранее известно».

(Г.К. Лихтенберг)

«Следует стремиться увидеть в каждой вещи то, чего еще никто не видел, и над чем еще никто не думал».

(Г.К. Лихтенберг)

«Я хотел бы отвыкнуть от всего и видеть по-новому, слышать по-новому, чувствовать по-новому. Нашу философию губит привычка».

(Г.К. Лихтенберг)

«Как? Вечно смотреть на эту комедию, вечно разыгрывать ее? Никогда не смотреть другими, не нашими глазами на мир?»

(Ф. Ницше)

«О серых окнах. Неужели то, что вам видно во вселенной через это окошко, так прекрасно, что вы не хотите выглянуть ни в какое другое окно, – и даже удерживаете других от такого опыта?»

(Ф. Ницше)

«Жизнь терпима лишь при условии, что ты всегда отстраняешься от нее».

(Г. Флобер)

«Всякая жизнь покоится на иллюзии, искусстве, обмане, оптике, необходимости перспективности и заблуждения».

(Ф. Ницше)

«Я послал к дьяволу пальмовые ветви мучеников, радужные лучи искусства, гордость изобретателей, рвение грабителей».

(А. Рембо)

«Чувствительность человека к пустякам и бесчувственность к существенному – какая страшная извращенность!»

(Б. Паскаль)

«Для меня развлечением стала сама жизнь, а она никогда не теряла новизны. Это было многоактное, нескончаемое представление».

(Г. Торо)

«Все мне радостно и ново:
Запах кофе, люстры свет,
Мех ковра, уют алькова
И сырой мороз газет».

(И.А. Бунин)

«Нет нужды выходить из дому. Оставайся за своим столом и прислушайся. Даже не прислушивайся, жди. Даже не жди, будь неподвижен и одинок. И мир разоблачит себя перед тобой, он не сможет поступить иначе».

(Ф. Кафка)

«Я стоял, не двигаясь, и прислушивался к пустоте. Я уже не чувствовал ни города, ни улицы, ни названия ее, ни своего имени; я сознавал только, что я здесь чужой, что я растворился в неведомом, что нет у меня ни цели, ни дела, ни связи с этой темной жизнью, и все же я ощущаю ее с такой же полнотой, как кровь в своих жилах. Только одно чувство владело мной: ничто здесь не происходит ради меня, и, тем не менее, все принадлежит мне, – то блаженное чувство глубочайшего и подлинного переживания, которое достигается внутренним неучастием и которым, как живой водой, питается мое существо при каждом соприкосновении с неведомым».

(С. Цвейг)

«И вот душа, слиянная в одно,
Живет, и чувствует, и постигает».

(Данте Алигьери)

«Еще немного, и ноосфера найдет свои глаза».

(П. Тейяр де Шарден)

«Гораздо важнее увидеть жизнь, чем изменить ее, потому что она сама изменяется с того мгновения, как мы ее увидали».

(М. Метерлинк)

«Революция должна быть и революцией в восприятии... Чтобы эта мертвая система жизни была изменена, а не заменена другой мертвой системой, люди должны научиться развивать новую чувствительность к жизни – своей собственной жизни и жизни вещей».

(Г. Маркузе)

* * *

Революция в восприятии. Новая чувствительность... А может быть и просто дегустация. Дегустация жизни во всех ее проявлениях. Не только сладких, редких, исключительных. «Ты не знаешь, куда ты идешь, ни почему ты идешь. Повсюду броди, всему отвечай». (А. Рембо)

Всё ценно. Всё – в настоящем, здесь и сейчас. Ловля мгновений?

«Смысл – не в Вечном, смысл в мгновениях. Мгновения-то и вечны, а Вечное – только обстановка для них. Квартира для жильца. Мгновение – жилец, мгновения – "я", Солнце».

(В.В. Розанов)

«Жизнь состоит из редких единичных мгновений высочайшего значения и из бесчисленно многих интервалов, в которых в лучшем случае нас окружают лишь бледные тени этих мгновений. Любовь, весна, каждая прекрасная мелодия, горы, луна, море – все это лишь однажды внятно говорит сердцу – если вообще когда-либо внятно говорит. Ибо многие люди совсем не имеют этих мгновений и суть сами интервалы и паузы в симфонии подлинной жизни».

(Ф. Ницше)

Равноценность мгновений означает непрерывность жизни. Быть живым каждое мгновение жизни. Заполнить все пустоты. Выжать все из каждого мгновения. Как перед смертью. Интенсификация восприятия. Вглубь, а не вширь. Максимум ощущений, чувств, мыслей из минимума впечатлений. Жизнь на грани безумия. С разодранным глазом, обнаженным нервом. Но без взвинчивания. Без экзальтации. Вниз, вглубь, к земле. Нет ничего необычнее обычного, экзотичнее обыденного. Мы просто привыкли волшебствовать наоборот, превращая все чудесное в банальное.

* * *

«Можно подумать, что наше прикосновение несет с собою заразу; ведь мы портим все, к чему бы ни приложили руку, как бы ни было оно само по себе хорошо и прекрасно».

(М. Монтень)

«Всё вы браните, того, что имеется, выносить не желаете, а стремитесь к тому, чего нет: зимой молите о лете, летом – о зиме, в зной – о холоде, а в холод – о зное».

(Лукиан)

«С чем бы мы ни знакомились, чем бы ни наслаждались, мы все время чувствуем, что это нас не удовлетворяет, и жадно стремимся к будущему, к неизведанному, так как настоящее не может нас насытить: не потому, на мой взгляд, что в нем нет ничего, могущего нас насытить, а потому, что сами способы насыщения у нас нездоровые и беспорядочные... Наше алкание неустойчиво и ненадежно: оно неспособно ничего удержать, неспособно дать нам чем-либо насладиться по-настоящему. Человек, полагая, что недостаток – в самих вещах, начинает вкушать и поглощать другие вещи, которых он доселе не знал, с которыми еще не ознакомился; к ним устремляет он свои желания и надежды...»

(М. Монтень)

«Жизнь рисуется нам как беспрерывный обман – и в малом, и в великом. Если она дает обещания, она их не сдерживает, – или сдерживает только для того, чтобы показать, как мало желательно было желанное. Так обманывает нас то надежда, то ее исполнение. Если жизнь что-нибудь дает, то лишь для того, чтобы отнять. Очарование дали показывает нам райские красоты, – но они исчезают, подобно оптической иллюзии, когда мы поддаемся их соблазну. Счастье, таким образом, всегда лежит в будущем или в прошлом, а настоящее подобно маленькому темному облаку, которое ветер гонит над озаренной солнцем равниной: перед ним и за ним все светло, – только оно само постоянно отбрасывает от себя тень».

(А. Шопенгауэр)

«Мы никогда не живем в настоящем, все только предвкушаем будущее и торопим его, словно оно опаздывает, или призываем прошлое и стараемся его вернуть, словно оно ушло слишком рано. Мы так неразумны, что блуждаем во времени, нам не принадлежащем, пренебрегая тем единственным, которое нам дано, и так суетны, что мечтаем об исчезнувшем, забывая об единственном, которое существует... Покопайтесь в своих мыслях, и вы найдете в них только прошлое и будущее. О настоящем мы почти не думаем, а если и думаем, то в надежде, что оно подскажет нам, как разумнее устроить будущее. Мы никогда не ограничиваем себя сегодняшним днем: настоящее и прошлое лишь средства, единственная цель – будущее. Вот и получается, что мы никогда не живем, а лишь располагаем жить и, уповая на счастье, так никогда его и не обретаем».

(Б. Паскаль)

«Так нами владеет прошлое и будущее. А настоящее, которое составляет наше существование, падает на дно моря подобно маленькому острову, который непрестанно пожирают два непримиримых океана».

(М. Метерлинк)

«Я испил воды забвения; минувшее изгладилось из моей памяти, и Вселенная раскрывается передо мною».

(Ж.-Ж. Руссо)

«Состояние, в котором я был тогда, слишком странно, чтобы не описать его. Надвигалась ночь. Я увидел небо, несколько звезд и какую-то ветку. Это первое восприятие было чудным мгновением. Я ощущал себя тогда только через это. В этот миг я рождался к жизни, и мне казалось, что я наполняю своим легким существованием все воспринимаемые мною предметы. Все сводилось для меня к данному мгновению, я не вспоминал ни о чем; у меня не было никакого отчетливого ощущения своей личности, ни малейшего представления о том, что произошло; я не знал, кто я, где нахожусь; я не чувствовал ни боли, ни страха, ни тревоги. У меня текла кровь, но я смотрел на нее, как смотрел бы на ручей, даже не думая о том, что кровь эта все же моя. Я чувствовал во всем своем существе дивное спокойствие, и всякий раз, как вспоминаю о нем, не могу подыскать ничего равного ему среди всех изведанных мною наслаждений».

(Ж.-Ж. Руссо)

«Как будто неистовый порыв гнева очистил меня от боли, избавил от надежды, и перед этой ночью, полной загадочных знаков и звезд, я впервые раскрываюсь навстречу тихому равнодушию мира».

(А. Камю)

«Если приговоренному к смерти дарят час, то этот час стоит для него жизни».

(Г.К. Лихтенберг)

«Ничего не было для него в это время тяжелее, как беспрерывная мысль: “Что, если бы не умирать! Что если бы воротить жизнь, – какая бесконечность! И все это было бы мое! Я бы тогда каждую минуту в целый век обратил, ничего бы не потерял, каждую бы минуту счетом отсчитывал, уж ничего бы даром не истратил!”»

(Ф.М. Достоевский)

«Все следует делать, обо всем говорить и помышлять так, как будто каждое мгновение может оказаться для тебя последним».

(Марк Аврелий)

* * *

Мгновения... Они сменяются непрерывно, даже когда научишься останавливать время и запускать его вновь. Хотелось до предела уплотнить оставшиеся дни, часы, минуты. Но силы убывают, и мгновения разжижаются. Всё труднее концентрировать

внимание. Додумывать мысли до конца. Логическая хватка ослабевает, и мысли вырываются на свободу. Текут, куда хотят. Может, мы недостаточно им доверяем? Загоняем мысли как лошадей. Чтобы достичь фиктивной цели – доказательства, опровержения, объяснения. Как будто что-то в мире можно объяснить, доказать или опровергнуть. Давайте отпустим мысли на свободу. Пусть как растения развиваются по собственным законам. Вырастают в симфонии мысли, а не синкопы заключений...

А может, и напрасно я им потворствую. Их поток все время куда-то меня сносит. Разучившись сопротивляться, совсем потеряешь силу...

Вспомнилось, как ветер носил меня кругами. Пустого и легкого. Пока не принес к серой каменной стене... Как давно я ее не видел. Мой камень – талисман становится чем-то призрачным, нереальным. Абстрактным символом. Точкой отсчета...

Мне бы увидеть его снова. Хоть один раз. Последний раз. Даже не увидеть, а прикоснуться. Набраться силы. Зачем я покинул его? Зарылся в книги. Воздвиг пирамиду. Надгробную пирамиду цитат... Надо выбрать момент. Когда буду покрепче. Главное – туда добраться. Вернуться будет легче. Попросить кого-нибудь помочь? Нет. Лучше самому. Как-нибудь. Недалеко. Доползу потихоньку. У камня я должен быть один. Один на один. Иначе ничего не произойдет. Ничто не вернется. Нельзя потерять этот шанс. Последний мой шанс...

* * *

Все кончено. Был у камня. Ничего нет. В нем ничего нет! И никогда не было. Это ясно как день. До смешного ясно. Как мог я уверовать в этот бред боже что со мною творится верни мне разум я буду...

/после двух неразборчивых строк рукопись обрывается/

ГИНЗБУРГ Б.П., к.80х–нач.90х гг.

Инопланетяне о землянах*

Земля – самая хмурая из обитаемых планет. Счастливы здесь лишь младенцы и идиоты.

Все поглощены улучшением условий жизни. И не ощущают самой жизни.

Улучшение – призрак. В любом состоянии земляне воспринимают лишь негативные его моменты.

В раю не радуются розам, – раздражают шипы.

Годами добиваются руки любимой женщины, чтобы не знать, как от нее избавиться.

Десятилетиями добиваются торжества социализма, чтобы завидовать жертвам капитализма.

Концентрация на негативном – источник самосохранения в мире животных. И самоотравления в мире людей.

Гигантский резервуар отрицательных эмоций, заражающий Метагалактику.

Неприятие действительности. С головой уходят в дела и заботы, чтобы ничего не ощущать. Не приходить в сознание.

Анестезия целенаправленности. Опиум достижений.

---

* Первая публикация: Гинзбург Б.П. Инопланетяне о землянах. – Москва, 2000. – 16 с.

Самоотверженность единиц – героизм. Самоотверженность всех – массовое самоубийство.

Не знают, что делать с жизнью. И приносят ее в жертву. Превращают в средство достижения целей. Фиктивных, как ленточка финиша.

Психика выхолащивается до стресса и кайфа, напряжения и расслабления.

Зарываются в узкий темный тоннель, ведущий к свету. Но выходят на свет лишь для того, чтобы начать рыть новый тоннель.

Психология червя, медленно и упорно продвигающегося в глине.

Годы червеобразного существования ради минуты восторга – победы, успеха, достижения цели.

Ни один чемпион, получая приз, не испытывает большей радости, чем ребенок, получивший в подарок игрушку, о которой мечтал ночами.

Пытаются возвести в квадрат эмоции ребенка вместо того, чтобы вырастать из детских чувств, как из коротких штанишек.

С годами радость достижения целей блекнет. Но целемания не ослабевает. Ибо это – самая массовая из наркоманий. Пандемия землян, никем не замечаемая ввиду ее всеобщности.

Целеманы, подобно опиоманам, вырабатывают привыкание к своему наркотику и утрачивают эйфорию. Но зависимость от наркотика уже сформировалась, и муки абстиненции вынуждают принимать все большие дозы.

Первую половину жизни земляне как дети бегают за сладким. Вторую – убегают от горького.

Шкала «сладкое – горькое» остается неизменной. Двузначность психики, все состояния которой сводятся к плюсу и минусу –

ах и ох, удовольствию и страданию, радости и печали. Выходы в третье измерение редки и воспринимаются как безумие.

Негативизм, целемания и глобальная наркотизация жизни сдвигают психические состояния к отрицательному полюсу двузначной шкалы. Сдвиг, закрепляемый состязательным стилем жизни, при котором большинство землян так или иначе оказывается в проигрыше.

На третьей ступени пьедестала почета никто не чувствует себя победителем. Сотни оставшихся позади не могут перевесить двух первых.

Концентрация на негативном отравляет радость побед, и даже опередивший всех пребывает в постоянной тревоге, боясь утратить первенство. Игры, в которых земляне проигрывают саму жизнь.

Горечь, зависть и злость обойденных – основной состав психологической атмосферы планеты. Обойденных в погоне за богатством, властью, славой – ценностями, никого не сделавшими счастливым.

Вместо переоценки ценностей веками бьются за их перераспределение.

Культ побед порождает культ победителей. Но победители не властны побеждать.

Почему земляне не превозносят обладателей самых длинных носов?

В победителях побеждает природа, а не человек. Она – автор способностей и достижений.

Культ гениев и талантов сродни культу природных стихий.

Земляне шлифуют природный дар и объявляют его плодом собственных усилий. Гордыня похитителей алмазов.

Иерархия престижа, порождаемая иллюзией всемогущества.

Научные и художественные открытия рождаются в глубинах бессознательного. Они безличны как извержения вулканов.

Приписывая себе авторство научных гипотез, земляне готовы отстаивать их любой ценой. Для них победа альтернативной гипотезы равносильна поражению.

Наука – постижение мира, а не конкурс самолюбий. Почему не добиваются опровержения собственных гипотез, не гордятся этим?

Восторг побед здесь превосходит радость открытий. Неправоту предпочитают проигрышу.

Для землян науки и искусства – повод разбиться на команды и забивать голы противнику. Интеллектуальный хоккей измов.

Даже в религии борьба против культов сильнее культа богов.

Конфликтомания соперничает с целеманией, нередко вытесняя ее. Цель – ничто, победа над противником – все. Цели зачастую сводятся к одной – победить, одолеть, не уступить. Положительные эмоции – к радости побед, отрицательные – к горечи поражений.

Природа и искусство бессильны разорвать замкнутый круг двузначной психики. Музыка выдавливает из слушателей сироп радости или печали. Забивающий вкус самой музыки. Не дающий раствориться в ней, умирать и рождаться с каждым звуком.

Эмоции землян – занавес, отделяющий от мира. Вкус действительности остается тайной из тайн.

Здесь все стремятся к необычному, экзотическому, не подозревая, что оно рядом. Немногим удалось очистить психику настолько, чтобы реальность проникла в нее. И убедиться, что нет большего праздника, чем будни. Нет ничего фантастичнее действительности.

Землянам чужда идея эмоциональной революции. Они поглощены революциями техническими, политическими, социальными. Пытаются преобразить жизнь извне, а не изнутри.

Сочетание высокоразвитого мозга и примитивной психики делает обитателей этой планеты самыми опасными существами Метагалактики. Прежде всего – для самих себя.

Шансы выживания столь противоречивой цивилизации невелики. Другим обитателям Вселенной остается лишь ждать, когда этот чудовищный кентавр переродится или окончательно исчезнет с лица планеты.

Высказывания землян, часто цитируемые инопланетянами

«Наше бодрствование более слепо, чем сон. Наша мудрость менее мудра, чем безумие. Самое худшее место, в котором можем мы находиться, это мы сами».

(М. Монтень)

«Даже самые разумные люди разумны лишь в несущественном; в делах значительных разум обычно им изменяет».

(Ф. Ларошфуко)

«Чувствительность человека к пустякам и бесчувственность к существенному – какая страшная извращенность!»

(Б. Паскаль)

«Человек должен выдумать себе цель и потом страстно стремиться к ней, попеременно испытывая из-за этой выдуманной цели алчность, злобу, страх, уподобляясь ребенку, который пугается рожи, им самим намалеванной».

(Б. Паскаль)

«И всюду царит неприличная торопливость, точно будет что-нибудь упущено...»

(Ф. Ницше)

«Та суета, то захватывающее дух ловление момента, та чрезмерная спешка, которая срывает все вещи еще недозрелыми с ветвей, та погоня и скачка, которая проводит ныне борозды по лицу людей и как бы татуирует все, что они делают. Они несутся вперед с неприличной озабоченностью, как будто в них действует какое-то зелье, не дающее им спокойно дышать – гонимые рабы трех “м” – момента, мнений и моды».

(Ф. Ницше)

«Вы не знаете совсем, что вы переживаете, вы бежите через жизнь, как пьяные».

(Ф. Ницше)

«Гибнут, как дыма струя,
скоротечных людей поколенья,
Сердцем постигнув лишь то,
что каждому путь преградило
В суетной жизни стезе».
(Эмпедокл)

«Человек родится, чтобы жить в судорогах беспокойства или в летаргии скуки».
(Вольтер)

«У большинства людей спокойствие есть оцепенение, а деятельность – безумие».
(Тит Лукреций Кар)

«Мы отдаемся барщине ежедневного труда с такой горячностью и бешенством, какие вовсе не нужны для нашей жизни, – потому что нам кажется нужнее всего не приходить в сознание».

(Ф. Ницше)

«Современное шумливое, не теряющее даром времени, гордое собою, глупо гордое трудолюбие...»

(Ф. Ницше)

«Неустанное желание творить вульгарно и свидетельствует о ревности, зависти и честолюбии. Если человек есть нечто, то он, собственно, не должен делать ничего – и все же делает довольно много. Существует порода высшая, чем "производительный" человек».

(Ф. Ницше)

«Благодаря недостатку покоя наша цивилизация превращается в новое варварство. Никогда деятельные, т.е. беспокойные, не имели большего влияния, чем теперь».
(Ф. Ницше)

«Подлинная жизнь отсутствует. Мы пребываем вне мира».
(А. Рембо)

«Бытие – это ближайшее. Однако ближайшее остается для человека самым далеким».

(М. Хайдеггер)

«Жизнь подобна комедии, которая начата людьми, а доигрывается облаченными в их одежды автоматами».

(А. Шопенгауэр)

«Как? Вечно смотреть на эту комедию, вечно разыгрывать ее? Никогда не смотреть другими, не нашими глазами на мир?»

(Ф. Ницше)

«Я хотел бы отвыкнуть от всего и видеть по-новому, слышать по-новому, чувствовать по-новому. Нашу философию губит привычка».

(Г.К. Лихтенберг)

«Я просыпаюсь. Я объят
Открывшимся. Я на учете.
Я на земле, где вы живете.
И ваши тополя кипят».

(Б.Л. Пастернак)

«Ты не знаешь, куда ты идешь, ни почему ты идешь. Повсюду броди, всему отвечай».

(А. Рембо)

«Гораздо важнее увидеть жизнь, чем изменить ее, потому что она сама изменяется с того мгновения, как мы ее увидали».

(М. Метерлинк)

«Для меня развлечением стала сама жизнь, а она никогда не теряет новизны. Это было многоактное нескончаемое представление».

(Г. Торо)

«Нет нужды выходить из дому. Оставайся за своим столом и прислушайся. Даже не прислушивайся, жди. Даже не жди, будь неподвижен и одинок. И мир разоблачит себя перед тобой, он не сможет поступить иначе».

(Ф. Кафка)

«Чтобы принести хорошие плоды, нужно стать шпалерным деревом, т.е. остаться на одном месте всю свою жизнь, с вытянутыми руками, с открытым ртом, чтобы впитывать в себя все, что происходит, и жить этим».

(Э. Дега)

«Мерило чудесного – мы сами: если бы мы старались найти одно общее мерило, то понятие чудесного отпало бы само собой, и все вещи стали бы одинаково значительными».

(Г.К. Лихтенберг)

«Я всеобъемлющ. Вмещаю в себе множество множеств».

(У. Уитмен)

«Я люблю того, чья душа чрезмерно полна, так что он забывает самого себя, и все вещи – в нем: так становятся все вещи его гибелью».

(Ф. Ницше)

«Всматривайтесь в вещи достаточно глубоко, и вы повсюду найдете музыку».

(Т. Карлейль)

«Отчего человек не видит окружающих его вещей? Он сам стоит на дороге – он заслоняет от себя вещи».

(Ф. Ницше)

«Вы никогда не оторвётесь от себя и не стряхнете себя со своих плеч!»

(Ф. Ницше)

«И пока нет у тебя
Этой жажды гибели,
Этого умри и обновись,
Ты только унылый гость
На темной земле».

(И. Гёте)

«Нужно научиться не видеть себя, чтобы видеть многое...»

(Ф. Ницше)

«Разве вообще видеть не значит – видеть бездны?»

(Ф. Ницше)

«Человека не убедить, что нужно остаться дома и искать слияния с вечным океаном; нет, он непременно пустится в дальние странствия и будет выпрашивать стакан воды из источников, принадлежащих другим».

(Р. Эмерсон)

«Люди должны возвратиться к действительности; они не могут жить призраками».

(Т. Карлейль)

«Жизнь вечно обновляющаяся, вечно юная, и ни один час ее не похож на другой, тогда как уныла и до пошлости однообразна пугливая фантазия, раба тени, идеи...»

(Ф.М. Достоевский)

«Встань лицом к факту, и ты увидишь, что солнце играет на обеих его гранях, точно на лезвии острого меча, ты почувствуешь, как он пройдет через твое сердце и рассечет костный мозг, и ты счастливо завершишь свое земное существование».

(Г. Торо)

«Если бы люди твердо держались одной реальности и не поддавались обману, жизнь, по сравнению с нынешней, могла бы стать Сказкой Тысячи и одной ночи».

(Г. Торо)

«Есть тысячи троп, которые еще не пройдены, тысячи здоровых сил и скрытых островов жизни. Не исчерпаны и не открыты человек и земля человека».

(Ф. Ницше)

Часть II.
ВОСПОМИНАНИЯ

Евгения Немировская
Вспоминая папу

СТИХИ. Мы с папой сочиняли стихи. Его любимый:

«Мы куда-нибудь пойдем
И чего-нибудь купём!»

…Почему-то мама при этом каменела лицом и тихо роняла: «Не надо…»

СКАЗКИ. Как-то я заболела, и папа принес из своей научной библиотеки «Сказки 1001 ночи». И вот каждый вечер – сказка на ночь. Болезнь давно кончилась, а сказки продолжались. Кажется, осилили мы семь томов. Помню ежевечернее погружение в обволакивающее бархатной таинственностью папино повествование – пери… демоны… пещеры… алмазы…

Лет в 18 я решила вновь погрузиться в этот чудесный мир. Не удалось. Не учла папиного редакторского профессионализма и свободы творческой интепретации. Я же с трудом пробивалась к сюжету, увязая в восточнослагаемых речитативах, зубодробительных арабских именах-названиях и (внимание, дети!) прямолинейно-эротических сценах.

«Сказки 1001 ночи» так и остались для меня воспоминанием лишь в озвученной папиной версии.

КОМПОТ. Папа умел готовить. Подходил он к этому процессу творчески. Фирменным блюдом считались оладьи «из того, что было». Разной степени прорезиненности. Хотя случалось, что компоненты как-то правильно совмещались и оладьи удавались на славу.

Время – 70-е – было голодное. Изобретали все.

Помню, папа гордо водрузил на стол кастрюлю. Это был компот. Из редиски. С сахаром. Розовые кружочки в желтоватой водичке.

Опробовать произведение смогла только тетка. В ту пору она была студенткой, жила в общежитии, приезжала к нам на выходные отъедаться.

…Но «компот из редиски» остался в семейных преданиях…

ГРЕЧКА. Папа приучал детей к труду. За окном солнце, свобода и зазывные вопли подружек. Мы с папой за столом. Между нами красный пластиковый поднос. На нем горкой гречка. В одну сторону – грязь и камушки, в другую – чистая крупа. Когда горка становится меньше, папа подсыпает из пакета еше… и еще… и еще… Полуприкрыв глаза, он медитирует.

…Гречку я ненавижу до сих пор.

ФАНТИКИ. Папа умел придумывать игры. Самая любимая – азартная – «фантики». Фантик от конфеты складывается в маленький квадратик, кладется на ладошку. Ладонь бьется о край стола, фантик весело выпригивает. Цель – накрыть своим фантом уже лежащие на столе. Фантики все, конечно же, носили свои имена. «Дядя Пивкин» – рядом жил такой сосед Пивкин. Фамилию свою он оправдывал полностью. Фантик почему-то был всегда немного скособочен. «Тётя Дуся» – соседка тётя Дуся тоже «потребляла», но ходила исключительно ровно. Победителем чаще других оказывалась «Баба Маня Краснощёкая». Баба Маня обладала завидной комплекцией и ярко пламенеющими щеками.

…Резались мы в фантики часами…

НИТКИ. Вот эту игру точно придумал папа. Исходные материалы – вата, акварельные краски, вода. В маленькие емкости льется вода, и затем в них разводятся краски. Из ваты скручиваются длинные турундочки. И – о волшебный момент! – опускаешь такую «нитку» в разные баночки – и всё становится разноцветным. …Вот интересно, не это ли ощущение – из белого в многоцветие – определило мой путь к художеству?..

…Помню поверхность стола в цветных лужах… Горы цветных «ниток» на столе и под ним… Потом, конечно, всё оказывалось в помойном ведре. …Но каков кайф в процессе!..

КАРТОШКА. Мы с папой и с сестрой Ленкой ходили в лес печь картошку. Это называлось «пойти на обрыв». Место наше располагалось на обрывистом берегу реки. Там в песке я находила камни с отпечатками раковин. Папа рассказывал, что здесь раньше было море, а по лесу ходили динозавры.

…Сейчас там горнолыжная база и толпы горнолыжников…

ОГОНЬ. Всё на том же обрыве мы с папой находили «первобытные» камни: кварц и кремний. Папа объяснил, что раньше, на

заре человечества, огонь добывали, высекая искры из таких камней. Объяснения подтверждались опытами. Папа запирал меня в шкафу, и там, в кромешной тьме я добывала огонь. До сих пор помню запах паленого камня. Когда Ленка подросла, я уступила ей свое место в шкафу.

Мама, кажется, так об этом и не узнала.

ЛУК. Папа купил мне лук и стрелы с резиновыми наконечниками. Летом мы ходили стрелять в лес. Ну а зимой папа нарисовал мишень на дверце шкафа. Она так и осталась на долгие годы, пока шкаф не вынесли на помойку.

Между прочим, в школе, когда мы сдавали стрельбу из ружья, у меня всегда была пятерка.

ПТЕНЦЫ. Однажды я приволокла домой найденного под кустом голубенка. Мы с папой посадили его в зеленый пластмассовый таз. Прошла ночь. Наутро зеленого тазика практически не было. Всю емкость заполнила кашеобразная пахучая субстанция. Любовь моя как-то сразу угасла. Тогда бедный папа, в обнимку с почищенным тазом, ушел искать птенчику голубиную семью. И нашел.

История повторилась с Ленкой. На нашем балконе – восьмой этаж – материализовался маленький желтый цыпленок. На девятом этаже соседи отказались признать свою причастность к этому событию. Милый комочек был определен в коробку и назван «цыпленок Гена». Все бы ничего, но птенчик рос. Быстро. Дорос до грязно-белых перьев …а запах!.. И вот папа со страдающей Ленкой отправились искать ему куриный дом. Шли они долго, через лес, через поле, в зверосовхоз. Но цель была достигнута, цыпленок Гена обрел свою семью.

ЛЯГУШКА. Когда в 1941 г. началась война, папе было почти два года, а его сестре три. Ехали они на поезде с мамой и няней, деревенской старушкой. Поезд стали бомбить. Все бросились из вагонов. Няня прижала детей к себе и на мамины крики твердо ответила: «Я отсюда никуда не пойду, и детей не дам». Так деревенская няня их спасла. После налета, когда вышли из вагона, – живых почти не было, всех скосило. Потом они долго шли. Очень хотелось пить. Маленький папа лег на живот и стал пить из лужи. На противоположном берегу сидела лягушка и тоже пила. Так, глаза в глаза, они пили из одной лужи.

ТЕТЯ РИВА. У папы была тетя. Звали ее Рива. Папа приезжал к маме и тетке в Калинин, блаженно растягивался на диване. Едва он погружался в сон, над ухом раздавалось: «Боря, ты

спишь?» Папа спал. «Боря, ты спишь?» Он все еще спал. «Боря, ты спишь?» – «СПЛЮ!!!!» – «Ну спи, спи». И старушка, довольная, что мальчик уснул, отправлялась почивать.

ПЕЧКА. У папы в любую погоду были очень горячие руки. Однажды он объяснил мне, что у него внутри печка. Я поверила.

И до сих пор верю.

Елена Гинзбург
Воспоминания младшей дочери

Самым главным его суждением мне всегда представлялось одно. «Упрекая кого-либо в чем-то, мы делаем ему комплимент. Мы думаем, что он мог поступить иначе». Отец всегда исходил из того, что характер человека делает его судьбу, что характер – как почерк, изменить его нельзя. Возможно, из этого исходила его вторая убежденность – предоставление любому человеку абсолютной свободы действий. Даже если дело касалось его самых близких людей, детей. Я никогда не слышала от него запретов. Мне всегда было позволено все. При этом именно отец научил меня ответственности и привил мне правило держать свои обещания – одним-единственным своим замечанием.

Мне повезло. Отец был со мной огромную часть моей жизни, начиная с раннего детства. Его поддержку я чувствовала всегда. Он гулял со мной, делал уроки, учил меня стирать, гладить, готовить, как ни странно. А главное – он всегда мог выслушать меня. Основное, чем были ценны наши отношения, – это наше общение, наши разговоры. Ему всегда были интересны мои дела на работе, мои отношения, мои друзья, мои молодые люди. С ним можно было обсудить любую проблему и не наткнуться на стену непонимания или скуки. При этом он, пожалуй, как истинный мудрец, никогда не давал советов. Он просто задавал вопросы.

В детстве, юности и зрелости я всегда чувствовала его поддержку. И мужскую, физическую, при необходимости, и моральную. Я всегда могла обратиться к нему за помощью, в том числе узнать ответ на любой вопрос, он ведь действительно был «ходячей энциклопедией», помогал устранить любые грамматические затруднения.

Сейчас, когда его уже нет с нами, мне грустно. Но грусть моя светла, так как я понимаю, что мой отец прожил хорошую жизнь, и многие люди могут вспомнить его добрым словом. Сам

он никогда не считал себя в чем-то выдающимся или великим и, наверное, очень удивился бы, узнав, сколько людей после смерти испытывают к нему огромное чувство благодарности. Я очень надеюсь, что там, на небесах, он слышит, что мы его любим. И что он был прав.

Татьяна Уманская
«Возможно, истинный праведник и живет так, как жил Борис Петрович»

Не стало Бориса Петровича, и его отсутствие заговорило прямолинейнее любых высказываний.

Вполне возможно, истинный праведник и живет так, как жил Борис Петрович, – безрассудно отдает себя каждому, кто нуждается в помощи, и мало что оставляет для себя. Поэтому им легко пользоваться. По большей части бездумно, не отдавая себе отчета, насколько этот человек *сам* нуждается в деятельном сочувствии. У кого-то он даже может вызвать раздражение своим тотальным забвением себя. Это и впрямь неразумно. Поэтому мы и склонны относить существование таких «самозабывчивых» людей к далеким от нас и совсем не рациональным временам: там как будто и находится их законное место. Праведник живет *своей* жизнью в предании о нем. А в настоящем он невидим. Мы не замечаем самого дара нам такого существа.

Вот так и мы пользовались Борисом Петровичем, причем не просто его благорасположением, а всей его энергией, направленной на тех, кому он был нужен. Просить при этом не требовалось. Достаточно было волей судьбы оказаться рядом. А дальше – получай, сколько хочешь. Безвозмездно. Да еще с правом забвения. Мы – все, кто находился в орбите Бориса Петровича, – получили очень много его деятельной заботы о нас, и каждый в том, в чем больше всего нуждался: кого-то он избавил от нудных и громоздких заданий, у кого-то подхватил тяжелую ношу (в самом прямом смысле), о ком-то пекся в трудных жизненных обстоятельствах, кого-то выхаживал, кого-то, нуждавшегося в любви и одинокого, – любил. Судя по всему, любил он всех. Я и не припомню, чтобы о комлибо он высказался неприязненно. Люди принципиальные почитали это за всеядность, но все обстояло иначе.

Думаю, его единственной настоящей отдушиной среди нас были дети. Здесь его стремление давать, наконец, вознаграждалось.

Дети его обожали. Так вот и получилось, что самые замученные существа в нашей тогдашней жизни – работающие юные мамаши (их жизнь и интересы, такие, в сущности, мелкие в сравнении с мировыми проблемами, мало кого занимали) в полной гармонии с собой и своими детьми получали поддержку Бориса Петровича. И сколько же их было! Но вот что печально, по крайней мере в себе я это наблюдала, – быстрое обживание этой заботы: как-то слишком скоро она стала представляться мне само собой разумеющимся делом. Хотя ничего само собой разумеющегося тут не было.

Чаще всего я вспоминаю тяжелую сумку, которую Борис Петрович тащил вместе со мной по вторникам из магазина на Сухаревке, где моей бабушке выдавали мощный заказ на всю неделю. Потом эпопеи с заготовкой картошки на зиму: тут и копать, и таскать… А самое главное, поддержку нашей с Толей Яковлевым новой семьи – он поддержал нас сразу, безоговорочно, а в этом мы нуждались больше всего. И еще несколько лет он по первому зову спешил на помощь, подменяя, таская, выгуливая… Он был самым надежным. А потом все в нашей жизни установилось, потянулось своим порядком, и нужда в деятельном участии Бориса Петровича пропала. И он сразу ушел в тень. Вернее, туда, где позарез был нужен. В череде моих собственных забот стало забываться, какое большое дело делал для меня и моей семьи Борис Петрович, а он и не напоминал о себе.

И вот его нет. Кончились хлопоты. А мы, попользовавшись, можем со спокойной совестью рассказывать, что был вот такой человеколюбец, напрочь забывший о себе.

Анатолий Яковлев
Борис Петрович Гинзбург

Борис Петрович Гинзбург появился в моей жизни в 1990 г., предложив моральную и даже физическую помощь, в которой мы с Таней Уманской, моей женой, и моими малышами, Полей и Колей, в то время так нуждались. Стремление помочь, как правило в ущерб своему собственному времени, даже, быть может, в ущерб интересам своей собственной личности, отличало его от всех людей, которых я когда-либо знал. В какой-то мере позиция самоотвержения была мне понятна и близка. Но только в какой-то мере, не доходившей до самоотречения. У Бориса же она принимала крайние формы, вызывавшие протест. Тогда я думал так: можно

ли жить, отрицая самого себя? В некотором смысле в Борисе жила личность, аналогичная моему собственному «Я», но гораздо более последовательная и всецело воплощенная не просто в деятельность, но в непосредственную жизнь.

Конечно, я не знал Бориса Петровича бóльшую часть его жизни, наше знакомство и сотрудничество продолжалось примерно до 2000 г. Всего-навсего десять лет. О его работе в ИНИОНе я только что-то краем уха слышал от знакомых, но в конце 1991 г., когда верстался план нового философского журнала «Путь», где мне довелось быть главным редактором, возникла идея создать в журнале отдел библиографии. Гинзбург казался подходящей фигурой. Вместе с Иосифом Беленьким несколько лет, пока выходил журнал, они делали превосходные обзоры. К сожалению, «Путь» прожил недолго, всего три или четыре года. Сотрудником Борис Петрович был надежным, никогда не подводил, это был человек, на которого можно было полностью положиться: ни одна задача, перед ним поставленная, не оставалась нерешенной. Самому Борису Петровичу работать в «Пути» было интересно, но судьба нашего проекта зависела от общего положения дел в издательстве «Прогресс», с которым в начале 90-х годов начали происходить вещи, случавшиеся тогда повсюду. Издательство быстро обанкротилось и перестало существовать. А вместе с ним и журнал «Путь». Сам я не был готов к такому «рынку» и его правилам. А вот Борис Петрович принял все как должное, говорил что-то про «опять бедному еврею...», «фосфору, фосфору не хватает» и «а вы что хотели?»

Но наша совместная работа продолжилась в энциклопедии «Кругосвет». Этот проект курировался иностранными спонсорами, выжимавшими из нас по всем правилам капитализма все соки, хотя для людей самоотверженных, таких как Борис Петрович, это было, как говорится, самое оно. Конечно, работа в энциклопедии была не такой творческой, как в журнале. Качество американских текстов оставляло желать лучшего. Приступали мы к задаче перевода исходной энциклопедии «Collier's» как убежденные западники, а к концу работы злость на американских авторов достигла высшей точки кипения, и все мы даже начали сомневаться, так ли уж хороша культура, допускающая неимоверное количество ошибок и глупостей. Правда, как сказал один астроном и популяризатор науки, ныне известный Владимир Сурдин, в ответ на наши с Борисом стенания: «Вы сначала побывайте в Штатах и посмотрите, а потом уже говорите, что там нет культуры». Наша злость, ко-

нечно же, была вызвана не разочарованием в западной культуре, а внутренним изможднием: редакторская рука колоть устала. Сделав половину объема, а это несколько тысяч статей, мы решили плюнуть на все и исправлять ошибки, защищенные американским авторским правом. Тем более что к тому времени сама «Collier's Encyclopedia» закрылась, и остался только «русский» проект, который был благополучно подан в качестве «адаптации».

В каком-то смысле работа в энциклопедии оказалась испытанием для жизненной позиции Бориса Петровича, потому что теперь самоотверженность должна была распространяться не только на ближних, но и на совсем-совсем дальних, т.е. на довольно халтурных авторов. Или на очень известных, но заредактированных до смерти американскими редакторами (среди авторов встречались даже нобелевские лауреаты, что поначалу нас, наивных, подкупало). Был ли теперь смысл в *полной и всецелой* самоотверженности как жизненной позиции? Если только речь не шла о том, чтобы, работая таким образом, почти на грани самоотречения, забыть о чем-то очень горьком, преследовавшем всю жизнь. Конечно, было в жизни Бориса Петровича и это тоже. Очень-очень горькое.

В любом случае работать и жить самоотверженно и в ущерб собственным интересам и занятиям больше не было сил. И не только Борису Петровичу, но и всей команде «Кругосвета». В начале 2000-х годов команда энциклопедистов и редакторов была, слава Богу, распущена, и наше с Борисом Петровичем сотрудничество прекратилось. В памяти навсегда сохранился образ человека, с готовностью отказывающегося от собственных желаний и занятий ради того, чтобы войти в положение других людей и помогать им, пока они не решат своих проблем и не перестанут в нем нуждаться. В таких ситуациях, т.е. когда в нем переставали нуждаться, Борис Петрович всегда уходил очень тихо, как бы говоря самому себе и другим, что так и должно быть и он это чем-то, наверное, заслужил.

В последние пару десятков лет у него все же появилась отрада, душевная опора, его последняя любовь, которой он отдавался с упоением и все с той же самоотверженностью. Храня в душе эту любовь, он и ушел из жизни. И теперь Бориса Петровича будет не хватать, и не только нам, но и тем людям, кому он еще мог когда-нибудь пригодиться, которым мог помочь, но не успел.

Георгий Хлебников
Мои воспоминания о Борисе Петровиче Гинзбурге*

Невысокого роста (казалось, метр шестьдесят, не больше), он всегда представлялся мне каким-то слегка улыбающимся, радужным, даже осиянным. Пройдет рядом – будто маленькое теплое солнышко прокатится. Кивнет, что-то скажет, здороваясь, и пойдет дальше, оставляя за собой какую-то светлую полосу удачи: сразу как бы и работа пойдет легче, и люди станут дружелюбнее, – происходило что-то редкостное, удивительное, хорошее… Он был какой-то маленькой, самодостаточной галактикой, собранной в один сияющий центр, казался полностью интегрированным, завершенным.

Его какая-то органическая мягкая мудрость находила естественное выражение в традиционных формах «Разделов отцов» («Пиркей авот»): сжатых до боли смысла – будто побелевшие костяшки пальцев в кулаке – слов краткого мини-повествования, содержащего внутри парадоксальную мысль, как бы указующую на то невыразимое, что и после хомо-дескрипции всегда остается «в себе», недоступным для человеческого, непостижимым, о чем Б.П. различно писал и в своей уникальной книжке афоризмов «Инопланетяне о землянах», например: «Эмоции землян – занавес, отделяющий от мира. Вкус действительности остается тайной из тайн».

Помню один редкий случай, когда мы с ним как-то оказались в буфете ИНИОНа на третьем этаже за одним столом, разговаривая о новостях недели. По поводу зашла речь о судьбе какого-то олигарха, и он вдруг заметил: «Вот оно еврейское счастье: пойти против всех, всем пожертвовать ради мечты, ни перед чем не остановиться, достичь даже большего, чем надеялся, – и вдруг на вершине богатства и известности внезапно умереть еще полным сил, в седле!..»

Как многим глубоким людям, не пытающимся уйти куда-либо от аподиктической действительности, ему, наблюдавшему людей, часто была свойственна мягкая грусть, переходящая иногда в печаль или даже интеллигентный рефлектированный пессимизм, который он, как бы подсмеиваясь над ним и собой, часто выражал гномами: «Вместо переоценки ценностей веками бьются за их пе-

---

* Первая публикация: Хлебников Г.В. Мои воспоминания о Борисе Петровиче Гинзбурге // Теория и практика общественно-научной информации / РАН. ИНИОН. – Москва: ИНИОН РАН, 2014. – Вып. 22. – С. 319–322.

перераспределение», «Первую половину жизни земляне как дети бегают за сладким. Вторую – убегают от горького», «Земля – самая хмурая из обитаемых планет. Счастливы здесь лишь младенцы и идиоты». В отношении младенцев я не был согласен, но не стал ему ничего говорить тогда. Не скажу и сейчас.

Б.П. замечательно рассказывал, как поступил на философский факультет МГУ, успешно работая в дружной бригаде строителей, которые, узнав, ***куда*** он сдал экзамены и ***где*** теперь будет учиться, искренне недоумевали и пожимали плечами: «Зачем тебе это – ты же можешь вполне честно прожить, работая своими руками?!»

У него была необычная особенность: после разговора с ним людям становилось словно бы легче и веселее жить, они как бы заряжались каким-то искристым светом, который передавался от них другим, от человека к человеку, медленно угасая, так что я почти всегда безошибочно чувствовал, когда мой собеседник только что говорил с ним – по особой веселости и мелькавших в глазах тенях мгновенного отсутствия: человек все еще продолжал мысленный диалог с ним, что-то дослушивал, находился полузде сь, полутам.

И когда говорили о нем: «Человек-муравей, все знает, нужное и ненужное, эрудит старой школы..», – мне всегда казалось, что это не о нем. Меньше всего он напоминал ходячий музей или склад раритетов – все, что Б.П. узнавал, у него как-то сразу сплавлялось и выплавлялось в какой-то сверкающий и сияющий «интеллектуальный металл», утраченный, как представлялось, еще в невообразимой древности. Я всегда сравнивал это, – mutatis mutandis, – по эффекту с орихалком атлантов, о котором так значительно упоминает Платон в своих диалогах. Нечто частично божественное, дарованное людям и опять отнятое. Редчайшее качество, Qualia.

У Стругацких есть интересное и какое-то странное по правдоподобности обозначение очень редких людей как бы не совсем от мира сего – «прогрессоры»: существа в телесной оболочке людей, то ли внедренные инопланетной высокоразвитой цивилизацией, то ли еще Кем-то или Чем-то для ускорения развития и интенсификации человеческой культуры. Они в чем-то такие другие, что во многом кажутся иными, гигантскими флуктуациями, но при всем при том их воздействие всегда благотворно, позитивно для онто- и филогенеза. Зло, зависть, мелочность им сущностно чужды.

Иногда, после очередной встречи с ним, думалось: не один ли он из них?..

Б.П. очень ценил ясность и точность мышления, логическую доказательность рассуждения. Вместе с тем он был философским умом и углублял все, чего касался мыслью. Часто цитировал вместе и частями удивительные слова Монтеня, соединившего сразу несколько апофтегм античных философов: «Наше бодрствование более слепо, чем сон. Наша мудрость менее мудра, чем безумие. Самое худшее место, в котором можем мы находиться, – это мы сами». Б.П. было присуще какое-то глубинное понимание великих загадок бытия, вызов которых он не только сознавал, но и принимал, стремясь дать на них если не общий ответ, так хотя бы ряд частичных, которые бы все приближались и приближались к правильному решению. Он даже написал специальный трактат «Да и Нет», в котором, как представляется, сделал попытку выразить свое понимание этой проблемы, подхватив мыслью как пинцетом одну из традиционных нитей этой интеллектуальной пряжи. Вот его начало:

«Только на рынке нападают с вопросом: да или нет? Так говорил Заратустра. Вызов примитивности мышления. И вместе с тем – его определенности.

Никто уже не ждет окончательного “Да” или “Нет” ни на один из серьезных вопросов, волновавших человеческий разум. Не потому, что решений нет, а потому что их слишком много. Всемогущество разума обернулось бессилием. Способность доказать что угодно – неспособностью что-либо доказать.

Диагноз обычно прост: отрыв философской теории от практики, здравого смысла, логики естественного языка.

И все же – Заратустре нет нужды покидать рынок, чтобы услышать “и да, и нет” или “ни да, ни нет”. Обычно слова эти выражают сомнение и нерешительность. Но нередко они звучат так же твердо и уверенно, как и однозначные “да” или “нет”».

Диалектика, древняя, как темная вода Гераклита, в которую можно и нельзя войти и дважды, и трижды, дает возможность уже здесь, в начале его работы, почувствовать за словами то, что стоит за ними, за смыслами, на что они даже не намекают, а как бы показывают отбрасываемой тенью значений. Мир, открывающийся и существующий в формально-логическом противоречии. Невозможное, которое возможно. Нечто содержащееся в гипераническом топосе Платона. Непостижимое. Трансцендентное. Без чего не было бы того, что есть. Сверхбытия, обусловливающего бытие.

Однако его глубина была какой-то не темной, не лежащей в провале колодца, а – парадоксальным образом – доступной и близкой, живой и пульсирующей, как он сам. Это была углубленность

бытия человеческой экзистенции, ощутимая и прекрасная. Недаром же он так нравился своим женщинам, которые могли понять его и, поняв, полюбить так, что пришли к нему даже после его смерти, даже к памяти о нем, на его тризну.

Смотрю на подаренную мне фотографию Б.П.: открытый куполообразный, выпуклый лоб мыслителя, едва угадываемую саркастическую улыбку – ответ всему пошлому и банальному, прищуренные глаза, вглядывающиеся в невидимого оппонента, который всегда рядом с каждым из нас: он был всегда готов к мысли, к ответу, ему было что сказать и каждому из нас, и тем, кто еще только дорастал к сомнению, вопросу, поиску себя. И даже Тому, Кто спрашивает молча, тихим Голосом звуча из бездны нас самих. Сам он явно трансцендировал глиняно-земное, чтобы радостно вернуться к нему, преображенному, несмотря на все печали: «Здесь все стремятся к необычному, экзотическому, не подозревая, что оно рядом. Немногим удалось очистить психику настолько, чтобы реальность проникла в нее. И убедиться, что нет большего праздника, чем будни. Нет ничего фантастичнее действительности».

И умер он как-то необычно: стоял на вдоль и поперек исхоженном его ногами за десятилетия перроне, где его знала каждая крупинка асфальта, – и вдруг какая-то странная неодолимая сила схватила, подхватила, закружила, увлекла и затянула под проходящий поезд…

Десятилетиями не хватала, не затаскивала, даже не пошатывала, – а здесь вдруг… убила.

Александр Борисов
Инопланетянин на галерах: Б.П. Гинзбург в рабочем интерьере и духовном поиске

«Большое видится на расстояньи» – эти слова приходят на ум, когда я вспоминаю коллегу-философа, библиографа-энциклопедиста Бориса Петровича Гинзбурга (1939–2012), трагически погибшего несколько лет назад. Только теперь, спустя годы, я могу догадываться об истинном масштабе этого человека.

За тридцать лет совместной работы слишком привыкаешь к сотруднику, сидящему за соседним столом, и начинаешь воспринимать его достоинства и таланты как нечто само собой разумеющееся. А с философскими работами Бориса Петровича я познакомился, увы, когда его уже не стало, но потом перечитывал много

раз. Они помогли мне узнать его более глубоко, как оригинального мыслителя, прошедшего в свое время через период напряженных духовных поисков, отразившихся в «Записках обреченного философа», а также «Инопланетянах о землянах» (об этом чуть ниже).

Правду сказать, он не был рубахой-парнем с душой нараспашку. Скорее наоборот, довольно закрытый интеллектуал-интроверт, весь в работе и своих мыслях. Зато, когда в перерыве мы садились пить чай, он и сам был рад оставить свою невольную замкнутость, отложить серьезные мысли в сторону, остроумно и по-доброму шутил, говорил о делах семейных и вообще легко преодолевал психологические барьеры, возникающие иной раз между сотрудниками. Разговор со мной он обычно начинал с детской темы: он знал, как я люблю дочку, а своих двух дочерей он любил, конечно, не меньше. Кстати, он никогда не ел сладостей и, отказываясь, делал характерный жест рукой, приговаривая: «Нет, это детское». Может, он просто не любил сладкого*, но мне в этом слышалась многолетняя домашняя привычка запрета для себя на сладости за семейным столом, где сидели две маленькие сладкоежки.

Однажды на работе за чаепитием он рассказал об одном своем очень ярком сно-видении: ему привиделось, будто он – раб, прикованный к палубе на галере… И то сказать, в нашей библиографической работе было что-то общее если не с галерами, то уж точно с конвейером – книг и журналов, поступавших к нам ежедневно на просмотр и обработку в Белый Зал (выставка новых поступлений) со всей страны и из других стран. Именно с этим была связана главная, на мой взгляд, черта характера Бориса Петровича – огромная ответственность за свое дело, фундаментальная добросовестность в работе, безупречное, безукоризненное выполнение всех своих обязанностей… вплоть до последнего рокового дня, когда он спешил в Институт на какое-то собрание, где должен был просто «присутствовать». В этом смысле его с полным правом можно назвать Человеком Долга, имевшим внутренний нравственный стержень, «моральный закон в нас», которым так восхищался Кант.

Вместе с тем Борис Петрович не был каким-то сухим резонером типа толстовского Каренина. Его ответственное отношение

---

* По этому поводу его старшая дочь, Евгения Немировская, написала мне недавно: «Папа ужасно! любил сладкое)))) мы с Леной посмеялись над предположительной “нелюбовью”)) Просто жили трудно, все вкусное детям отдавалось, так и осталась привычка: если вкусное, то “детское”. Это семейное определение вкусностей)».

к работе не было внешним, формальным долгом, но исходило из большой любви к своему философско-библиографическому делу, в которое он погружался со всей интеллектуальной страстью. Погружался прямо-таки физически: он мог часами сидеть за своим рабочим столом лицом к стене, почти без движения, как медитирующий перед стеной Бодхидхарма (образ из его «Записок»), только перед стопкой иностранных журналов; и лучше было не отвлекать его в это время, он просто не слышал, когда его пытались окликнуть.

Другой выдающейся чертой Бориса Петровича как человека и философа был, конечно, его мощный интеллект. Его ум имел не только два измерения аналитической точности и энциклопедической широты мышления, способного «объять необъятное» и составить, например, фундаментальный словник (тезаурус) философской лексики, но и два «вертикальных» измерения: высоты полета абстрактной мысли и глубины постижения реальности уже за пределами слов и мыслей. Это «четвертое измерение» разума (интеллектуальная интуиция), очевидно, и направляло его философское творчество от таких строго академических исследований, как «О природе логических парадоксов» (1969) – к экзистенциальным «Запискам» и афористичным «Инопланетянам».

Просматривая новые работы иностранных, например англо-американских аналитических философов, он считал делом чести отразить в аннотации все оригинальные ходы их мысли, утонченные изыски которых, он, однако, иронически называл «ловлей блох». Его живая интуиция уберегла его от «горя от ума», от преклонения перед дискурсивным разумом и словесно-логическим познанием, ограниченность которого он понимал всем своим существом. В своих размышлениях он доходил до пределов мысли, где упирался в кантовские «границы разума», в ницшеанское самоотрицание интеллекта и превосходство жизни над мыслью. Ему очень подходил этот гетевский афоризм: «Теория, мой друг, суха, но зеленеет жизни древо». И в общении с ним всегда чувствовался его ценностный приоритет жизни над мышлением... составлявшим-таки большую часть его жизни.

Еще одна яркая черта характера Бориса Петровича, которая тоже бросалась в глаза, было мужество – мужество жить и работать в тех условиях, какие давала ему судьба, с необходимостью почти каждый день ездить на работу на электричке. И что примечательно, это не мешало ему радоваться жизни и заряжать своей радостью окружающих. Но когда я смотрел на Бориса Петровича,

сосредоточенно вникающего в иностранные философские тексты, мне невольно вспоминалось выражение поэта «ежедневный чернорабочий подвиг» или слова одного философа-веховца «подвиг или подвижничество». Его отношение к труду напоминало о том, что (говоря высоким штилем) подвигу всегда есть место не только на пожаре, в шахте или больнице, но и в научном институте.

Его осанка всегда была прямой, а рукопожатие крепким. Моя рука тонула в его богатырской ладони бывшего спортсмена-борца. Коренастая фигура, мощный подтянутый торс. В нем чувствовалась вулканическая внутренняя сила, но и не меньшее самообладание, с которым он усмирял эту мощь. Сохранять спортивную форму и спокойствие, кстати, было полезно не только для здоровья, но и для довольно-таки нервных рабочих дискуссий, когда ему приходилось отстаивать специфику философского «Тезауруса» на институтском методсовете.

А мужественность Бориса Петровича в отношении к дамам, насколько я был свидетелем в стенах Института, превращалась в трепетную галантность. Чуть ли не в каждой нашей сотруднице он готов был видеть прекрасную Дульсинею и в рыцарском порыве мог встать перед ней на колени, как Дон Кихот.

Мужественный и жизнелюбивый, добросовестный и ответственный, интеллигентный и остроумный – такой образ и прямотаки образцовый портрет Человека сложился у меня за долгие годы работы с Борисом Петровичем. И хотя мне не посчастливилось быть его близким другом, я благодарен судьбе, что мне довелось работать рядом с таким человеком...

Портрет философа, даже беглый его набросок не может обойтись без краткого очерка его взглядов. В лаконичной, афористической форме его кредо сформулировано в «Инопланетянах», хоть и негативным образом. Однако мне хотелось бы сосредоточиться, прежде всего, на духовных поисках Бориса Гинзбурга, чему посвящены, собственно, его более объемные «Записки».

Кстати, однажды на очередном обсуждении новых дескрипторов для нашего философского словника, в основном составленного Гинзбургом еще в 80-е годы, речь зашла и о «духовных поисках». Борису Петровичу тогда этот термин показался информационно избыточным. «У какого философа не было в жизни духовных поисков? – как помнится, говорил он. – Для этого достаточно общего дескриптора “биографии”». И в самом деле, каждый мыслитель в период своего становления проходит через поиски и формирование мировоззренческих взглядов, после некоторой эволюции кото-

рых у него складывается более-менее устойчивая система убеждений. Выработкой этой системы ранние поиски обычно и заканчиваются.

Однако бывают и более зрелые духовные поиски (и не только у философов, конечно), которые ведутся уже не для того, чтобы найти или создать стабильную систему взглядов, а наоборот, ради того, чтобы освободиться от всякой сковывающей системы, от всех ограничений ума и привязанностей эгоцентрированного сознания. В разных религиозно-философских, эзотерических, сотериологических традициях Востока и Запада это так и называется – «духовное освобождение» (санскр. «мокша») или просветление, пробуждение (боддхи), преображение, трансформация, трансценденция, духовная самореализация и т.п. Это самопознание и постижение реальности как истины, что освобождает, и есть та самая мудрость, к которой издавна стремилась высшая фило-софия.

Духовный поиск нередко бывает связан с резким или роковым поворотом судьбы... как это случилось, очевидно, и с Борисом Гинзбургом, когда ему было около пятидесяти. Иначе как бы могли появиться «Записки обреченного философа»?..

«Записки» – синкретичное, философско-автобиографическое повествование, где размышления и медитации Автора чередуются с многочисленными афоризмами других, самых разных мыслителей и художников. У своих единомышленников Автор ищет поддержку и свидетельство того, что он не одинок в своем поиске, что в его «пусть гипертрофированной тяге к реальности» есть что-то «общечеловеческое». Эта тяга, «тоска по реальности» и задавала направление его духовного поиска.

Кто же он, этот «обреченный философ», приговоренный врачами к последнему, «одному году» жизни, от лица которого ведется повествование? Это сам автор, «Гинзбург Б.П., к. 80х – нач. 90х гг.», как подписан этот «дневник» (без дат), или его лирический герой, двойник, альтер-эго? Если так ставить вопрос, «или – или», на него нельзя ответить однозначно (см., кстати, изящное эссе Гинзбурга на подобную тему «Да и Нет»). С одной стороны, ни нам, его коллегам, ни его дочерям (я спрашивал Евгению Немировскую) ничего не было известно о каком-либо роковом (раковом?) диагнозе, поставленном ему в конце 80-х. С другой стороны, приговор смертельной болезни висит над героем – автором дневника, как дамоклов меч, с самого начала и до конца повествования, когда рукопись обрывается на полуслове... Что это, просто художественный прием?

Философский дневник написан так искренне, исповедально, страстно, с таким отчаянным надрывом, что мне трудно допустить, будто это лишь игра ума и воображения, и я склоняюсь к тому, что смертельный диагноз был действительно поставлен Автору, скрывавшему его ото всех. Был ли диагноз ошибочным или случилось редкое исцеление – этот биографический вопрос я выношу за скобки. Так или иначе, автор или герой «Записок» предстает перед нами в драматичной роли духовно ищущего Философа, в образе которого сливаются герой и автор.

В повествовании и размышлениях Философа я бы выделил, пусть очень условно, три измерения, три лейтмотива, переплетающихся и переходящих друг в друга: экзистенциальный – жизнь и философствование перед лицом смерти; медитативный – спонтанное созерцание и внутреннее переживание вещей; и собственно сотериологический – возможное освобождение, прорыв через личное я-эго и пробуждение к истинной реальности.

Экзистенциальный кризис на краю жизни и смерти постоянно возвращает обреченного Философа к memento mori. Кому как не логику Гинзбургу со студенческой скамьи был известен этот классический силлогизм: «Все люди смертны. Сократ – человек. Следовательно, Сократ смертен». Но одно дело абстрактные умозаключения, другое – когда это ТЫ, а не Сократ, твоя смерть и судьба. Тут логика не поможет, да и философия тоже не очень утешает. Ну, лучше Автора эту пограничную ситуацию не опишешь, перехожу к красноречивым и обширным цитатам (что будет вполне в стиле обильного цитирования в «Записках»).

«Она [смерть] крушит заслоны цитат, уловок, силлогизмов. Она требует тебя всего целиком, голеньким, жалким, беспомощным. Не сумевшим толком прожить, не знающим, как умереть. Страх смерти? Нет, вызов смерти! Вызов, требующий ответа. Прямого, без обиняков. Как жил? Чем жил? Жил ли? […]

Философствовать – значит учиться умирать. Так нам долбили Платоны, Цицероны, Монтени. Черта с два! Наоборот: умирать – значит учиться философствовать. Значит впервые начать мыслить. Впервые начать жить. Впервые осознать все, что мелькало в туманном похмелье жизни. Очнуться от многолетней спячки. […] Важно лишь пробуждение, обновление, возрождение».

«Экзистенциалисты высоко ценят “пограничные ситуации” как средство пробуждения личности к “аутентичному существованию”. Наплевать мне на аутентичность моего существования, на “самореализацию” моего бесценного “Я” – грош ему цена! Но что-то постичь, осознать за этот год я все же хочу. И знаю, что это мой единственный шанс что-то понять в жизни, – этого шанса у меня не было бы, если б не приговор. Приговор к смерти – приговор к жизни. К постижению жизни. Смерть не научит меня жизни – настоящей жизни, которой не научила сама

жизнь. Но должна научить меня мыслить. Научить философа философствовать. Она уже отмела все, что мешало мне думать о жизни. У меня не осталось других занятий. Необычайное чувство свободы – впервые в жизни. Меня освободили, – связали по рукам и ногам, бросили в одиночку, объявив, что смертный приговор будет приведен в исполнение через год и обжалованию не подлежит. И тем самым освободили. Освободили от суеты, от псевдопроблем, от меня самого».

«Трудно сбросить самого себя с плеч. Исчезнуть, раствориться в ткани мира. Насквозь пропитаться лучами, звуками, запахами... Стать деревом, камнем, дождем, светом, тьмой... Исчезнуть? Но разве не этого добивается смерть? Значит, мы с нею заодно? Настоящая жизнь – это и есть смерть. Подлинно живой – себя не помнящий. От себя излечившийся. Разбивший скорлупу, отделявшую его от мира. Влившийся во вселенную и ставший вместе с нею бессмертным...

Поэзия? Мистика? Пантеизм? Но в основе что-то жутко реальное. Абсолютно трезвое и заземленное. Без экзальтаций и возвышенных порывов. Наоборот, желание погрузиться, движение вниз, вглубь. Как будто всю жизнь скользил по поверхности вещей, и вдруг потянуло в глубину... Но как часто выталкивает обратно! Не хватает воздуха? Боюсь не вынырнуть? Панический страх безвозвратности…»

Размышления о смерти и жизни чередуются у Философа с медитативными эпизодами безмолвного созерцания, непосредственного, бес-словесного, без-умного восприятия и постижения вещей в их неописуемой таковости (будд. «татхата»). В философском плане это имеет что-то общее с феноменологической редукцией, с призывом «назад, к самим вещам» (правда, Автор не ссылается на феноменологов) и является неким чувственно-сверхчувственным проникновением в суть вещей и воссоединением с глубочайшей реальностью. «Мистические» термины и трактовки Автор, кстати, тоже не жаловал, они казались ему слишком неземными, оторванными от обычной жизни и потому неадекватными для описания того естественного, спонтанного процесса прямого восприятия и в***и***дения, который с ним происходил.

В своих медитациях и размышлениях с первой до последней страницы Философ снова и снова возвращается к Камню, «грубому серому камню» в стене на улице, так поразившему его своей серой безвидностью, дававшей прочувствовать свою каменность как таковую, помимо какой-либо поэтизации и эстетизации предмета созерцания.

«В камне ничего не было. Абсолютно ничего привлекательного. Ни красоты, ни величия, ни старческой седины. Как будто меня притягивала именно эта простота, неброскость, молчание, достоинство, серьезность камня, его замкнутость и безразличие ко мне, к впечатлению, которое он производит. К впечатлению, которое не производит, – с площади, откуда глазеют на ратушу, торец про-

сто не виден. Камень не вызывал у меня ни воспоминаний, ни ассоциаций, ни мыслей, ни чувств. Он действовал неотразимо, не используя никаких средств воздействия. Действовал своей голой сутью, самим своим бытием, своей жуткой явью».

Подобные медитации случаются у Философа и с облаками, и с деревом, и со светом, с белизной снега:

«Вспомнился Эльбрус в яркий солнечный день. Под ногами ослепительный снег, над головой ослепительное солнце, впереди ослепительная шапка Эльбруса. Маленький, серенький, комочком грязи зависаю в бездне света. В непереносимой белизне и чистоте. Уродливый, грязный снаружи и изнутри, противный самому себе и боящийся себя потерять. Раствориться и исчезнуть в ослепительном сиянии. [...] Почему мы так глухи и слепы? Как лунатики, автоматически движемся по крышам, замкнутые в бреду своих забот, желаний, расчетов, огорчений... И очнуться для нас – гибель. Очнуться – значит испугаться и сорваться с гребня крыши.

Так вот чего я боюсь все эти дни! Очнуться и сорваться. Я – пробуждающийся лунатик. Серый камень пробил первую брешь в стене моего бреда. Дуновение смерти очистило мою психику, и в образовавшиеся пустоты прорывается действительность. Прорывается мир, ломая скорлупу моего я. Впервые в жизни я начал видеть, слышать, чувствовать, ощущать. Стал открытым для камня, дерева, облака, света, тьмы. Эта открытость, ранимость, незащищенность и пугает меня. Все, что раньше доходило как сквозь вату, теперь раздирает ухо, глаз, нерв».

«И расколдовать этот заколдованный мир так же трудно, как разучиться понимать родную речь. Воспринимать ее как чистое звучание, лишенное смысла. Отскоблить слова от значений. Вещи – от символов и ассоциаций. Отмыть вселенную от сиропа предвкушений и уксуса опасений. Чтобы ощутить подлинный вкус вещей. Перейти на сторону вещей, дезертировать из самих себя. Переход от субъекта к объекту. От субъектизма к объектизму. Пробуждение от субъективного бреда желаний, надежд, радостей, огорчений».

«Сравнения, эпитеты, метафоры – не постижение предмета, а бегство от него. В лучшем случае – бег вокруг него. Вокруг да около, минуя суть, которая остается несравнимой и невыразимой. Искусство как бегство от реальности, ее неповторимости и несказанности. Искусство как трусость, слабость, неспособность выстоять перед действительностью как она есть. Воспринять предмет в полную силу его собственного звучания, не прячась за другие предметы под предлогом сравнений, метафор, ассоциаций».

«Быть может, немота, безымянность чувств и ощущений и есть критерий их подлинности? Не к этому ли стремились и романтики? Но у них – тоска по дальнему и экзотическому. У меня же – ностальгия по ближайшему, обыденнейшему. Тоска по реальности. Реализм как жизненный стиль. Альтернатива романтизму, сентиментализму, гедонизму, прагматизму... Стиль, который может быть чисто внутренним. Внешне – обычный человек, ничем не выделяется. Но внутри – другой мир...»

Сотериологический прорыв к безличной действительности представляется Философу как освобождение от бреда личностного, эгоцентрированного сознания со всей его нечистотой и искусственностью, как «невыразимое» пробуждение к подлинной реальности.

«Ничто так не требует выражения, как невыразимое. Сами прорывы в действительность можно лишь условно назвать “слиянием”, “растворением”, “погружением”... Трудно преодолеть и безотчетные страхи. В человеке, пока он человек, всегда остается боязнь потерять себя, утратить собственное Я, свое тождество, раствориться без остатка в окружающем мире...»

«Главная трудность – прорваться сквозь паутину стандартных чувств, настроений, ожиданий, желаний, предпочтений. Очистить психику настолько, чтобы действительность могла проникнуть в нее».

«Очищение психики», о которой говорит Философ, и духовная трансформация человека вообще может занимать годы и десятилетия, но сам момент перехода – мгновенный скачок выявления «голой сути» бытия, подобный рождению бабочки из куколки. Как ползучая гусеница должна «погибнуть», чтобы полететь бабочкой, так и человек, чтобы преобразиться и освободиться, должен «умереть» как личное «я», избавиться от эгоцентрированного самосознания. Это и будет, парадоксальным образом, освобождением от смерти смирившегося искателя, «влившегося во вселенную и ставшего вместе с нею бессмертным». Многие вдохновенные пассажи «Записок» говорят о том, что Автор стоял на пороге подобных озарений-откровений или просветления-пробуждения и дверь была приоткрыта...

«Все эти дни меня пронизывает предчувствие, нет, даже не предчувствие, а сознание готовности, необычайной готовности к озарению, постижению, прозрению. Нет, никакой мистики, здесь что-то другое. Это может быть и не сразу, и не молния с небес, просто чувствую, что у меня впервые появился шанс что-то понять, а понять что-то – это почти то же, что понять все. Просто впервые свободен от всего, что мешало мыслить, понимать, осознавать. Пелена спадает с глаз, и невозможно поверить, что ничего не увижу. Господи, мне ничего не надо, мне надо что-то понять, постичь, сам не знаю что. Все, и ничего в частности, ничего в деталях и мелочах. Я впервые пуст, прозрачен и свободен. Впервые способен что-то вместить. Впервые не боюсь света, открыт свету. Неужели и это – обман, иллюзия, экзальтация?»

«Озарение, просветление, откровение... Это не для меня. Мистически бездарен. Полная инвалидность по части шестых чувств. Никакой глас свыше не приму, даже если услышу. Сочту за бред и собственное безумие. Да и какой формулой господь мог бы меня просветить? Моя проблема – не вопрос, и ответом тут не поможешь. Понимание, постижение, которого я ищу, скорее интуитивное, чем понятийное, словесное. Оно должно быть чем-то вроде света. Но не ослепитель-

ного света мистиков, что чернее тьмы, а преломленного света гигантской линзы, стягивающей в одну точку все проблески жизни. Чтобы можно было собрать в фокус и прочувствовать, понять, ощутить все, что уходит в небытие с моей смертью. Что я хочу понять? Все и ничего. Все разом и ничего в частности».

«Равноценность мгновений означает непрерывность жизни. Быть живым каждое мгновение жизни. Заполнить все пустоты. Выжать все из каждого мгновения. Как перед смертью. Интенсификация восприятия. Вглубь, а не вширь. Максимум ощущений, чувств, мыслей из минимума впечатлений. Жизнь на грани безумия. С разодранным глазом, обнаженным нервом. Но без взвинчивания. Без экзальтации. Вниз, вглубь, к земле. Нет ничего необычнее обычного, экзотичнее обыденного. Мы просто привыкли волшебствовать наоборот, превращая все чудесное в банальное».

В «Записках» немало описаний подобных прозрений Философа, проблесков (дзен. «сатори») истинной реальности. Финальная же фраза звучит очень неоднозначно: «Как мог я уверовать в этот бред боже что со мною творится верни мне разум я буду...» Пытаясь осмыслить духовные поиски и обретения Бориса Гинзбурга, приходится смириться с тем, что конечный момент прорыва и, возможно, преображения нам понять не дано, поскольку оно вообще вне ума, вне понимания.

Борис Гинзбург как духовный искатель представляется мне в классическом образе принца Арджуны «Бхагавадгиты» – воином, ставшим духовным учеником на поле битвы (Куру-кшетра), оно же символ Поля жизни и смерти, наслаждения и познания – но одиноким воином, без наставлений мудрого Учителя. Философ жаждет Истины, открыт для нее, но некому направить его на истинный путь живым словом. «Где Соломоны, чудесами мудрости привлекающие толпы людей со всех концов света? Куда они подевались?» – восклицает смятенный Философ. «Зарылся в книги. Воздвиг пирамиду. Надгробную пирамиду цитат...» Похоже, ему не хватало тогда практической ориентации в духовном поиске, живого учителя или учения, способного своевременно помочь ему на пути. Правда, теоретически он был знаком с дзен-буддийской медитацией, но считал ее слишком аскетичной и неземной. «Ведь основной пафос буддизма, – как ему казалось, – неприятие земной жизни и обыденной действительности».

«Но мне не нужна трансценденция. Мой удел – посюстороннее. Моя медитация – цель, а не средство. “Посюсторонняя” медитация. Без обмороков, трансов, экстазов. Слияние с реальностью, а не бегство от нее в мистические глуби или выси».

«Что уж греха таить, для меня, как, наверное, и для всех непросветленных, “чистый свет есть чистая тьма”. Формула Гегеля, отмечавшего также, что чистое бытие есть чистое ничто. Он не метил в мистиков, – попадание случайно».

Не знаю, как насчет Гегеля, но попадание Гинзбурга в мистики-пантеисты, на мой взгляд, далеко не случайно. К этому же приходили многие зрелые искатели, философы и даже логики до и после Гегеля. Ведь Освобождение (перефразируя великого панлогиста) и есть Осознанная Действительность, к чему так страстно стремился и, наверное, пришел Борис Гинзбург. Иначе откуда бы взялся Инопланетянин, автор столь необычных афоризмов о землянах?..

«Инопланетяне о землянах», маленькая синяя книжица, попала мне в руки, как весть, как «последнее прости», вскоре после гибели Бориса Петровича. Это была брошюрка в 16 страниц, первую половину которой составляют 46 афоризмов Автора, а вторую – 42 афоризма самых разных мыслителей, его конгениальных единомышленников (треть из них – цитаты Ф. Ницше). Афоризмы Гинзбурга написаны в энергичной, сжатой, как пружина, манере, короткими, рублеными фразами. Это говорит и о его темпераменте, и о «минималистском» стиле мышления, о стремлении говорить по существу. Ведь кто как не эрудиты-библиографы знают, что, в общем-то, все давно уже сказано, ну или почти все.

Итак, 6 страниц, 46 тезисов – не «маловато ли будет»? Однажды, пятьсот лет назад, 95 тезисов Лютера хватило для начала реформации христианства. Гинзбургу было достаточно 46, чтобы сделать переоценку общепринятых «человеческих, слишком человеческих» ценностей. Афоризмы Гинзбурга представляются мне сухим остатком, кратким итогом или промежуточным результатом его духовного поиска, запечатленного в «Записках», и приоткрывают нам систему ценностей современного философа жизни.

К содержанию «Инопланетян» я подхожу с тем же вопросом, что и к «Запискам»: кто же такие эти инопланетяне, столь отстраненно и строго взирающие на землян? И на этот вопрос тоже, как ни странно, нельзя ответить однозначно. С одной стороны, это, конечно, сам Автор, обозревающий человечество как бы с высоты птичьего полета. Но с другой стороны, взгляд этот уже не совсем человеческий, над-личный взгляд умудренного мыслителя, прошедшего через горнило драматичного духовного поиска. Не случайно в «Записках» встречается сравнение Ф. Ницше с инопланетянином: «Описывая “животное состояние” современного человечества, Ницше словно глазом инопланетянина отмечает “чудовищную подвижность людей в великой земной пустыне...”, и кто знает, не усомнились бы инопланетяне в нашем психическом здоровье, узрев эту картину маниакальной одержимости?» Таким образом, Автор видит

и себя (подобно Ницше) в роли залетного инопланетянина, отстраненно и беспощадно взирающего на печальное состояние человечества и общепринятые ценности. И его земное, человеческое происхождение выдает разве что горькая досада, которая сквозит между строк недоумения и сарказма.

Вчитываясь в негативно-критические оценки образа жизни и сознания землян (напоминающие местами мизантропические сентенции Шопенгауэра о человеческой натуре), мы видим, какие характерные черты людей бросаются в глаза нашему Инопланетянину. Речь не идет тут, однако, о бичевании человеческих пороков или язв общества, чем занимались многие философы-моралисты XVIII–XIX вв. Автор просто констатирует массовое, печально нормальное положение человечества и описывает узкие парадигмы эгоцентрированного несчастного сознания в нелепой суете и пошлости жизни.

Текст «Инопланетян», кстати, был сдан в печать в 1997 г., т.е. всего через 5–6 лет по окончании «Записок», в которых уже содержалось несколько ключевых афоризмов, причем в развернутом, основательном виде. Эта перекличка мыслей и наблюдений из двух работ показывает, как из размышлений «Записок» выкристаллизовывались афоризмы «Инопланетян».

Конкретная аксиология Бориса Гинзбурга, выраженная в негативно-критических афоризмах «Инопланетян» (два десятка избранных цитат), сгруппирована ниже по условным рубрикам, с несколькими смысловыми параллелями из «Записок» в качестве авторского «комментария».

Целемания как одержимость целью, достижением, победой, успехом уподобляется наркомании и пандемии. Целеполагание, целенаправленность, целеустремленность и достижение цели из необходимых, но лишь моментов процесса жизни и деятельности превращаются в весь ее смысл, в культ, обесценивающий «саму жизнь»...

«Не знают, что делать с жизнью. И приносят ее в жертву. Превращают в средство достижения целей. Фиктивных, как ленточка финиша».

«Зарываются в узкий темный тоннель, ведущий к свету. Но выходят на свет лишь для того, чтобы начать рыть новый тоннель».

«Годы червеобразного существования ради минуты восторга – победы, успеха, достижения цели».

«С годами радость достижения целей блекнет. Но целемания не ослабевает. Ибо это – самая массовая из наркоманий. Пандемия землян, никем не замечаемая ввиду ее всеобщности».

«Анестезия целенаправленности. Опиум достижений».

«Культ побед порождает культ победителей. Но победители не властны побеждать».

«Научные и художественные открытия рождаются в глубинах бессознательного. Они безличны как извержения вулканов».

«Восторг побед здесь превосходит радость открытий. Неправоту предпочитают проигрышу».

В качестве автокомментария к этим афоризмам приведу такой пассаж из «Записок»:

«Желание – стремление – целеполагание. Направленность, стягивающая мир в точку, а жизнь – в линию, ведущую к этой точке. К финалу. Финализация – линеизация – примитивизация жизни. Загоняем себя в узкий темный тоннель. Не видим и не ощущаем ничего, кроме смутного мерцания – «света в конце тоннеля». Все эмоции сводятся к «ах» (удается продвинуться) и «ох» (наталкиваемся на препятствие). Положительные и отрицательные эмоции. Двузначность психики. Наконец – громчайшее «Ах!» – вываливаемся на божий свет из тоннеля. Экстаз. Эйфория. Приходим в себя. Оглядываемся. И ныряем в новый тоннель...»

Двузначность психической жизни, ее эмоционально-психологических состояний превращает жизнь в примитивное, плоское, бедное существование.

«Первую половину жизни земляне как дети бегают за сладким. Вторую – убегают от горького».

«Шкала “сладкое – горькое” остается неизменной. Двузначность психики, все состояния которой сводятся к плюсу и минусу – ах и ох, удовольствию и страданию, радости и печали. Выходы в третье измерение редки и воспринимаются как безумие».

«Психика выхолащивается до стресса и кайфа, напряжения и расслабления».

Опять-таки, в качестве автокомментария к этим афоризмам приведу похожий пассаж из «Записок», в котором разворачивается та же мысль.

«Тысячи вещей, сводящихся, в сущности, к двум простым – радости и печали, плюсу и минусу, ах и ох. Не стал ли весь мир для нас лишь символом, набором знаков для ах и ох, для всего, что может нас усладить или ужаснуть? Солипсизм, в котором вещи – не комплексы ощущений, а знаки сладкого и горького, радости и боли. Которые – в свою очередь – лишь знаки нашего выживания или гибели. Я, превратившее весь мир в шифр собственного выживания или гибели. В информацию о себе любимом, в прогноз успеха или поражения, в шифровку спасения или приговора. В огромный текст о человеческом Я, заслонившем весь мир. [...]

Двузначность психики делает двузначным весь мир. Сводит и людей, и вещи к их роли, функции в достижении цели. К условным знакам торможения или продвижения. Символам успеха или неуспеха. Образец современной жизни – гонщик на шоссе. Весь мир – набор дорожных знаков. Люди и вещи – сигналы поворотов, знаки возможных столкновений. Вся психика – серия напряжений и расслаблений. Сама цель – ленточка финиша – чисто условна и символична. Знак успеха, сигнал к расслаблению, кайфу. Стресс и кайф – сиамские близнецы. Два основных состояния современного человека».

Негативизм – основной тон и фон общей эмоционально-психологической жизни.

«Негативизм, целемания и глобальная наркотизация жизни сдвигают психические состояния к отрицательному полюсу двузначной шкалы. Сдвиг, закрепляемый состязательным стилем жизни, при котором большинство землян так или иначе оказывается в проигрыше».

«Горечь, зависть и злость обойденных – основной состав психологической атмосферы планеты. Обойденных в погоне за богатством, властью, славой – ценностями, никого не сделавшими счастливым».

«Эмоции землян – занавес, отделяющий от мира. Вкус действительности остается тайной из тайн».

Неосознанность жизни – **неприятие** действительности.

«Неприятие действительности. С головой уходят в дела и заботы, чтобы ничего не ощущать. Не приходить в сознание».

«Все поглощены улучшением условий жизни. И не ощущают самой жизни».

«Здесь все стремятся к необычному, экзотическому, не подозревая, что оно рядом. Немногим удалось очистить психику настолько, чтобы реальность проникла в нее. И убедиться, что нет большего праздника, чем будни. Нет ничего фантастичнее действительности».

Внешние преобразования – **вместо внутреннего** преображения.

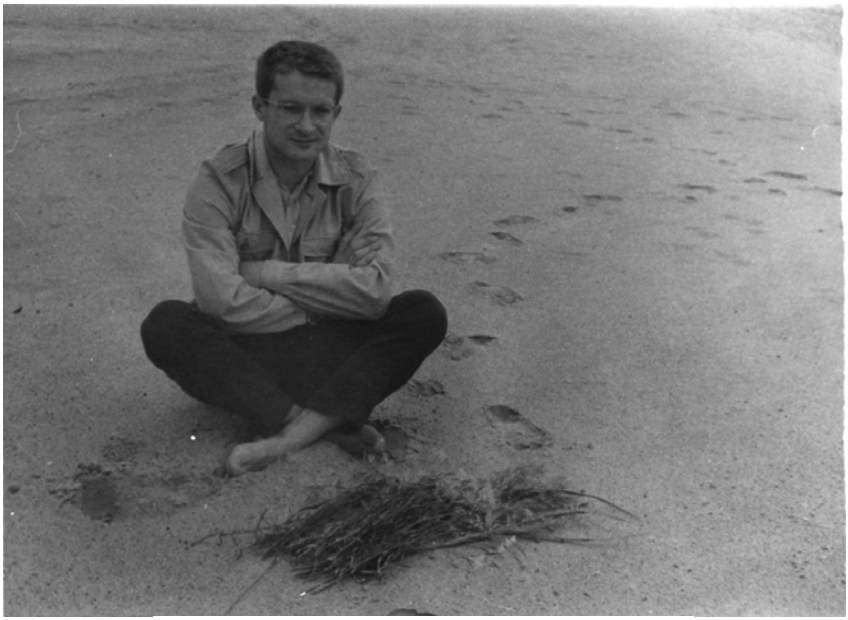
«Вместо переоценки ценностей веками бьются за их перераспределение».

«Землянам чужда идея эмоциональной революции. Они поглощены революциями техническими, политическими, социальными. Пытаются преобразить жизнь извне, а не изнутри».

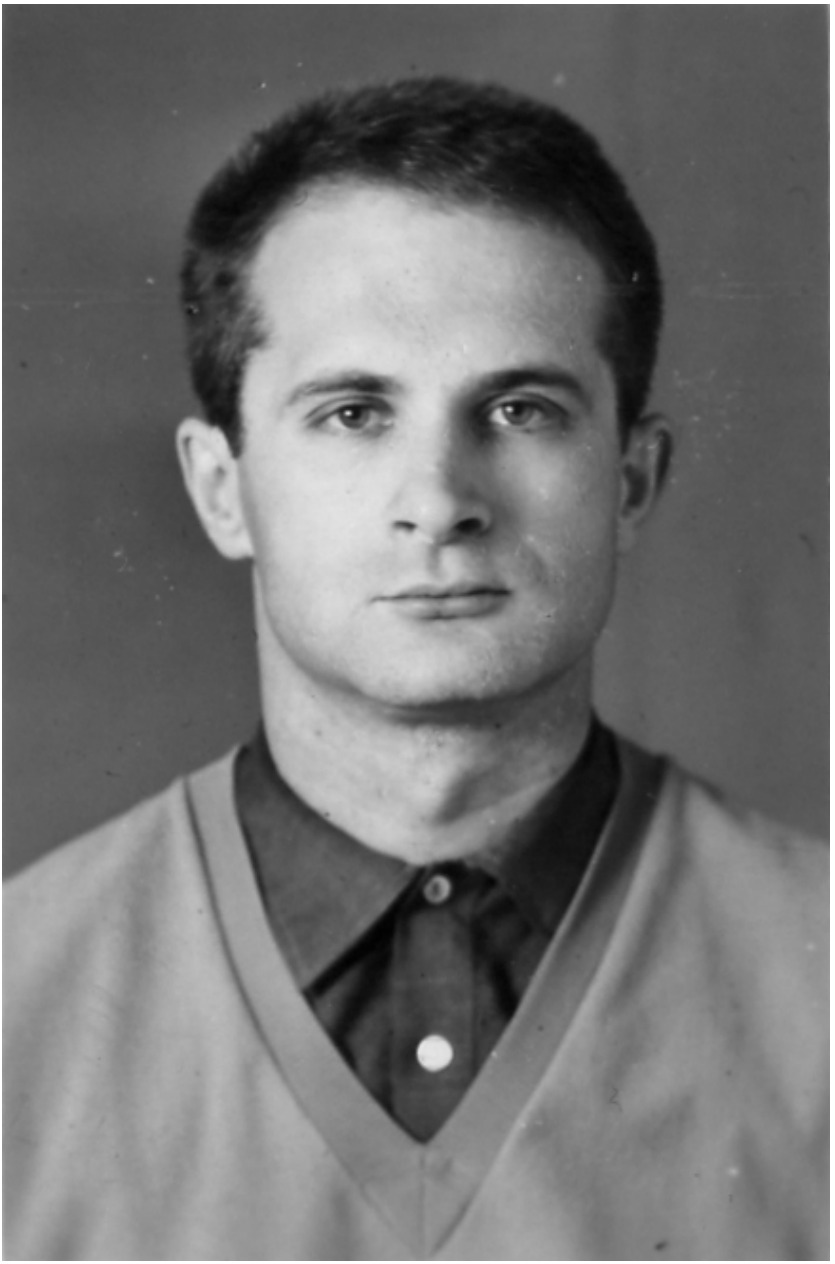
«Сочетание высокоразвитого мозга и примитивной психики делает обитателей этой планеты самыми опасными существами Метагалактики. Прежде всего – для самих себя».

Таков неутешительный взгляд на человечество инопланетянина Бориса Гинзбурга, продолжившего философско-аксиологическое дело «переоценки всех ценностей» сто лет спустя после Фридриха Ницше, на рубеже XXI в. Свою позицию и самого себя он иронично охарактеризовал в «Записках» так: «Апостол Реализма Как Внутреннего Стиля Жизни... Низвергатель Идолов Эгоцентризма и Субъективизма... Воинствующий Адепт Антиискусства... Пророк Эмоциональной Революции…» В такую своеобразную, само-бытную форму философии жизни вылился глубокий опыт безличного бытия, пережитый Гинзбургом на рубеже 1980–1990-х годов. И этот духовно-жизненный опыт постоянно просвечивал в самом Борисе Петровиче, в его светлой, по-детски радостной или грустно-ироничной улыбке.

Борис Гинзбург, на стройке по комсомольскому призыву, 1956 г.



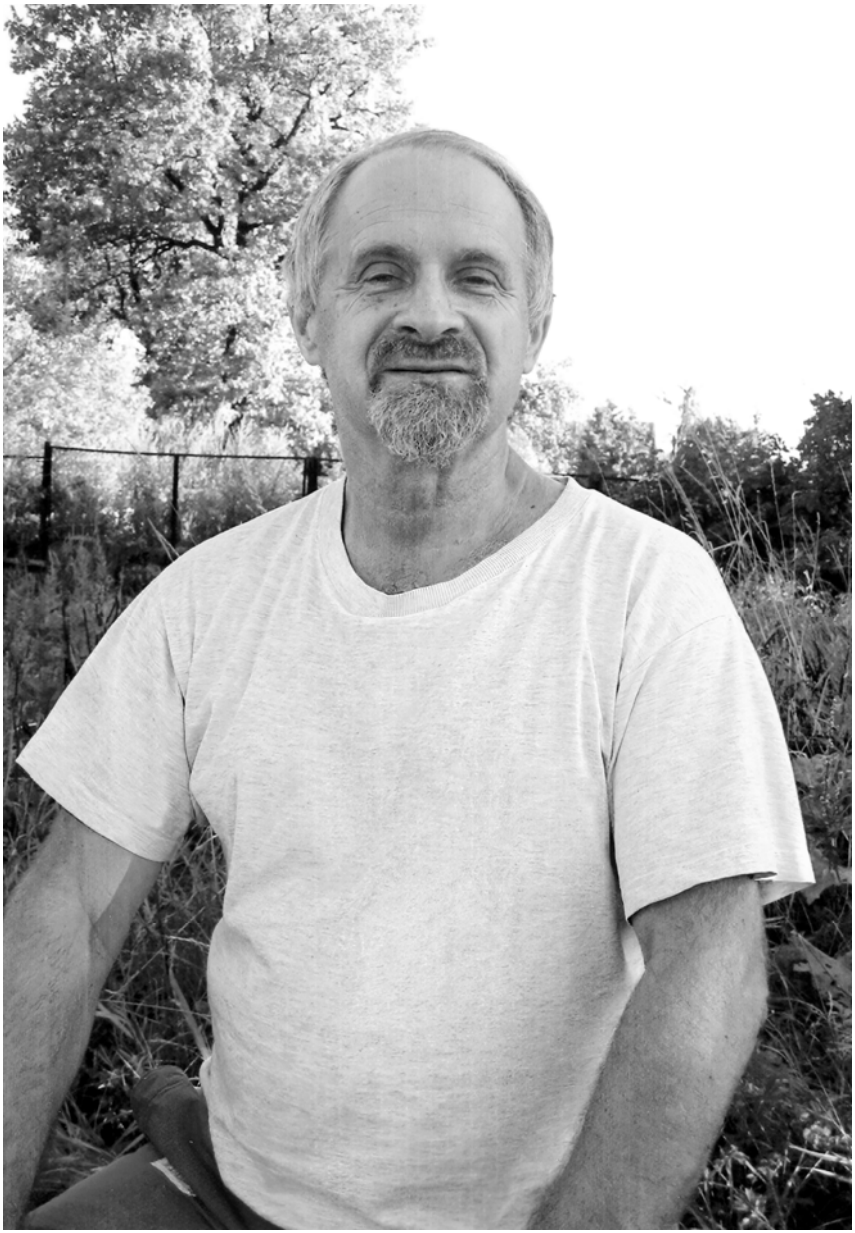
Борис Гинзбург, конец 1950-х – начало 1960-х годов



Борис Гинзбург, 1960-е годы

Борис Гинзбург с женой Людмилой, дочерью Евгенией,
сестрой жены Татьяной, начало 1970-х годов

Слева направо: Людмила Гирко, Ирина Русецкая, Борис Гинзбург, Юлия Калика,
1980-е годы



Б.П. Гинзбург, 2008 г.

Борис Гинзбург с дочерью Евгенией, 2006 г.

Борис Гинзбург с дочерью Еленой, 2006 г.

Елена Грассе, 1985 г.

Г.В. Хлебников, 2021 г.

КРАТКАЯ БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Борис Петрович Гинзбург родился 18 августа 1939 г. в г. Вышний Волочёк Калининской области.

Мать – Сарра Ионовна Гинзбург, лектор-пропагандист в Новопромышленном райкоме ВКП(б).

Отец – Мовшан Петр Иванович, кадровый офицер-артиллерист, участник Великой Отечественной войны, кавалер ордена Красной Звезды.

Трудовая биография Бориса Гинзбурга началась в 17-летнем возрасте на стройке, где он проработал каменщиком больше года.

В 1957 г. он поступил в Горьковский институт инженеров водного транспорта, по окончании которого началась его научно-преподавательская деятельность на кафедре марксизма-ленинизма. В 1962–1966 гг. он – ассистент, а вскоре преподаватель кафедры.

В 1966–1969 гг. Борис Гинзбург, переехав в Москву, учился на очном отделении аспирантуры философского факультета МГУ. В эти же годы (1967–1968) работал младшим научным сотрудником факультета психологи, затем – м. н. с. философского факультета МГУ, а по окончании аспирантуры, с 1969 г., – старшим преподавателем кафедры истории КПСС и философии.

В 1969 г. Б.П. Гинбург успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему «О природе логических парадоксов», ему была присуждена степень кандидата философских наук.

С 1971 г. начинается многолетняя работа Б.П. Гинзбурга в ИНИОН РАН: сначала младшим научным сотрудником, а с 1986 г. – научным сотрудником Отдела философских наук, Сектора библиографической информации, которым в те годы руководила Елена Ильинична Серебряная (1930–2019).

В 1991 г. Борис Петрович был назначен заведующим Сектором научно-библиографической информации по философским наукам; в 1996–1997 гг. он работал в должности старшего научного

сотрудника. На протяжении долгих лет работы в ИНИОНе Б.П. Гинзбург был одним из ведущих специалистов в методической и практической работе по переходу Института на автоматизированную, компьютерную обработку научно-библиографической информации и формированию библиографической базы данных по философии. Он стал автором-составителем понятийного инструментария для обработки философской литературы – словника нормализированной лексики «Информационно-поисковый тезаурус ИНИОН по философии» (опубликован в 2002 г.).

В 1992–1995 гг. Б.П. Гинзбург работал по совместительству консультантом в международном философском журнале «Путь»; в 1997–1999 гг. – консультантом-редактором универсальной электронной энциклопедии «Кругосвет».

С 2000 по 2012 г. Борис Петрович Гинзбург работал в должности старшего научного сотрудника Сектора научно-библиографической информации по гуманитарным наукам. Здесь, в группе философии, которой руководил Анатолий Кириллович Воскресенский (1944–2021), он продолжал работу над обновлением и дополнением информационно-поискового тезауруса по философии – вплоть до своей трагической смерти 20 декабря 2012 г. в результате несчастного случая.

Борис Петрович дважды был женат. Первый раз – на Галине Сергеевне Гинзбург (Бобиной); их сын Дмитрий умер. Второй брак (1970–1994) был с Людмилой Захаровной Немировской, известным философом, профессором; в семье выросли две дочери – Евгения Немировская и Елена Гинзбург.

Составлено по семейным и рабочим архивам.

БИБЛИОГРАФИЯ

Гинзбург Б.П. Монография о неопозитивизме // Вест. Моск. ун-та, сер. VIII, философия. – Москва, 1963. – № 1. – С. 66–69.

Гинзбург Б.П. О логических антиномиях // Тез. докл. к науч. конф. Горьковского ин-та инженеров водного транспорта. – Горький, 1966. – С. 8–9.

Гинзбург Б.П. О природе логико-математических парадоксов // Тр. Горьковского ин-та инженеров водного транспорта. – Горький, 1968. – Вып. 87. Некоторые вопросы марксизма-ленинизма, экономики и партийной работы на речном транспорте. – С. 152–170.

Гинзбург Б.П. О природе логических парадоксов: дис. ... канд. филос. наук: 09.00.00. – Москва, 1969. – 106 с.

Гинзбург Б.П. О природе логических парадоксов: автореферат дис. … канд. филос. наук (626 – Логика) / [Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Филос. фак.]. – Москва: Изд-во Моск. ун-та, 1969. – 12 с.

Марксистско-ленинская теория познания: Указ. лит., изданной в СССР на рус. яз., 1956–1972 гг.: в 3 ч. / АН СССР, ИНИОН, Отдел НБИ; сост.: Гинзбург Б.П., Новоселов М.М. и др.; ред. Гинзбург Б.П. – Москва, 1974. – 554 с.; 5187 записей.

Философские вопросы современного естествознания: Указ. лит., изданной в СССР в 1971–1979 гг. / АН СССР; ИНИОН; Гинзбург Б.П., Серебряная Е.И. – Москва, 1981. – Ч. 1. 318 с.; Ч. 2. 246 с.; 4183 записей.

Гинзбург Б.П. Философия и политические перемены в Восточной Европе // Путь. – Москва, 1995. – № 8. – С. 336–342.

Гинзбург Б.П. «Новые правые» во Франции // Путь. – Москва, 1995. – № 8. – С. 342–347.

Гинзбург Б.П. Научная философия: становление и развитие // Путь. – Москва, 1995. – № 8. – С. 348–351.

Гинзбург Б.П. Инопланетяне о землянах. – Москва, 2000. – 16 с.

Информационно-поисковый тезаурус ИНИОН по философии / Гинзбург Б.П. при участии Мдивани Р.Р. (Классификационный указатель по ББК); Ред.: Мдивани Р.Р., Серебряная Е.И.; РАН. ИНИОН. Центр информатизации, Фундаментальная библиотека. – Москва: ИНИОН РАН, 2002. – 323 с. – (Информационно-поисковые тезаурусы ИНИОН по социальным и гуманитарным наукам).

* * *

Гинзбург Б.П. // Логика: Биобиблиографический справочник (Россия – СССР – Россия) / Авторы-сост.: О.А. Антонова, А.С. Милославов, Т.Е. Сохор; отв. ред.: Я.А. Слинин, Б.И. Федоров. – Санкт-Петербург: Наука, 2001, с. 116.

Хлебников Г.В. Мои воспоминания о Борисе Петровиче Гинзбурге // Теория и практика общественно-научной информации / РАН, ИНИОН. – Москва: ИНИОН РАН, 2014. – Вып. 22. – С. 319–322.

Составитель И.Л. Беленький

ГИНЗБУРГ БОРИС ПЕТРОВИЧ

ЗАПИСКИ ОБРЕЧЕННОГО ФИЛОСОФА

Оформление обложки И.А. Михеев
Техническое редактирование
и компьютерная верстка К.Л. Синякова
Корректор Л.Н. Казимирова

Гигиеническое заключение
№ 77.99.6.953.П.5008.8.99 от 23.08.1999 г.
Подписано к печати 10 / X – 2022 г.
Формат 60x84/16 Бум. офсетная № 1 Печать офсетная
Усл. печ. л. 8,2 Уч.-изд. л. 7,2
Тираж 300 (1–100 экз. – 1-й завод) Заказ № 50

Институт научной информации
по общественным наукам Российской академии наук (ИНИОН РАН)
Нахимовский проспект, д. 51/21, Москва, 117418
http://inion.ru

Отдел маркетинга и распространения
информационных изданий
Тел.: +7 (925) 517-36-91, +7(499) 134-03-96
e-mail: shop@inion.ru

Отпечатано по гранкам ИНИОН РАН
ООО «Амирит»,
410004, Саратовская обл., г. Саратов,
ул. Чернышевского, д. 88, литера У